

**М-ЕСАЛТЫКОВ-ЩЕДРИН**



Книги очерков

Михаил Салтыков-Щедрин

**Губернские очерки**

«Public Domain»

1856

## **Салтыков-Щедрин М. Е.**

Губернские очерки / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1856 — (Книги очерков)

«Губернские очерки» – одно из первых произведений писателя, изображающее жизнь и нравы русского провинциального дворянства и чиновничества 50-х гг. XIX века, где он обличает жестокость, взяточничество, лицемерие, угодничество, царящие в чиновничьем мире.

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА	10
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО	10
ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО	17
НЕПРИЯТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ	21
МОИ ЗНАКОМЦЫ	33
ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК	33
ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ	39
КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА	48
ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО	58
БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ	69
ОБЩАЯ КАРТИНА	69
ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ ПИМЕНОВ	78
Конец ознакомительного фрагмента.	80

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

## Губернские очерки

### ВВЕДЕНИЕ

В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то всё немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокоивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест – лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалика откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, – вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усеянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его впечатлительность, все верованья, вся эта милая слепота, которую впоследствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование.

Но мрак все более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздается в воздухе. Перед вами река... Но ясна и спокойна ее поверхность, ровно ее чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звезд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепеневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического.

Но вот и берег. Начинается суматоха; вынимаются причалы; экипаж ваш слегка трогается; вы слышите глухое позвякивание подвязанного колокольчика; пристегивают пристяжных; наконец все готово; в тарантасе вашем появляется шляпа и слышится: «Не будет ли, батюшка, вашей милости?» – «Трогай!» – раздается сзади, и вот вы бойко взбираетесь на крутую гору, по почтовой дороге, ведущей мимо общественного сада. А в городе между тем во всех окнах горят уж огни; по улицам еще бродят рассеянные группы гуляющих; вы чувствуете себя дома и, остановив ямщика, вылезаете из экипажа и сами идете бродить.

Боже! как весело вам, как хорошо и отраднo на этих деревянных тротуарах! Все вас знают, вас любят, вам улыбаются! Вон мелькнули в окнах четыре фигуры за четвероугольным столом, предающиеся деловому отдохновению за карточным столом; вот из другого окна столбом валит дым, обличающий собравшуюся в доме веселую компанию приказных, а быть может, и сановников; вот послышался вам из соседнего дома смех, звонкий смех, от которого вдруг упало в груди ваше юное сердце, и тут же, с ним рядом, произносится острота, очень хорошая острота, которую вы уж много раз слышали, но которая, в этот вечер, кажется вам особенно привлекательною, и вы не сердитесь, а как-то добродушно и ласково улыбаетесь ей. Но вот и гуляющие – всё больше женский пол, около которого, как и везде, как комары над болотом, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вам нестерпимою: в ее стремлениях к женскому полу вы видели что-то не совсем опрятное; шуточки и нежности ее отзывались в ваших ушах грубо и матерьяльно; но в этот вечер вы добры. Если б вам встретился пылкий Трезор, томно виляющий хвостом на бегу за кокеткой Дианкой, вы и тут нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое. Вот и она, крутогорская звезда, гонительница знаменитого рода князей Чебылкиных – единственного княжеского рода во всей Крутогорской губернии, – наша Вера Готлибовна, немка по происхождению, но русская по складу ума и сердца! Идет она, и издали несется ее голос, звонко командующий над целым взводом молодых вздыхателей; идет она, и прячется седовласая голова князя Чебылкина, высунувшаяся было из окна, ожигаются губы княгини, кушающей вечерний чай, и выпадает фарфоровая куколка из рук двадцатилетней княжны, играющей в растворенном окне. Вот и вы, великолепная Катерина Осиповна, также звезда крутогорская, вы, которой роскошные формы напоминают лучшие времена человечества, вы, которую ни с кем сравнить не смею, кроме гречанки Бобелины. Около вас также роятся поклонники и вьется жирный разговор, для которого неистощимым предметом служат ваши прелести. И все это так приветливо улыбается вам, всякому вы жмете руку, со всяким вступаете в разговор. Вера Готлибовна рассказывает вам какую-нибудь новую проделку князя Чебылкина; Порфирий Петрович передает замечательный случай из вчерашнего преферанса.

Но вот и сам его сиятельство, князь Чебылкин, изволит возвращаться от всенощной, четверней в коляске. Его сиятельство милостиво раскланивается на все стороны; четверня раскормленных лошадок влачит коляску мерным и томным шагом: сами бессловесные чувствуют всю важность возложенного на них подвига и ведут себя, как следует лошадям хорошего тона.

Наконец и совсем стемнело; гуляющие исчезли с улиц; окна в домах затворяются; где-где слышится захлопыванье ставней, сопровождаемое звяканьем засовываемых железных болтов, да доносятся до вас унылые звуки флейты, извлекаемые меланхоликом-приказным.

Все тихо, все мертво; на сцену выступают собаки...

Казалось бы, это ли не жизнь! А между тем все крутогорские чиновники, и в особенности супруги их, с ожесточением нападают на этот город. Кто звал их туда, кто приклеил их к столь постылому для них краю? Жалобы на Крутогорск составляют вечную канву для разговоров; за ними обыкновенно следуют стремления в Петербург.

– Очаровательный Петербург! – восклицают дамы.

– Душка Петербург! – вздыхают девицы.

– Да, Петербург... – глубокомысленно отзываются мужчины.

В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полночи [1] (*Смотри Примечания 1 в конце книги*); но ни те, ни другие, ни третьи не искренни; это так, *façon de parler*,<sup>1</sup> потому что рот у нас не покрыт. С тех пор, однако ж, как двукратно княгиня Чебылкина съездила с дочерью в столицу, восторги немного поохладились: оказывается, «qu'on n'y est jamais chez soi»,<sup>2</sup> что «мы отвыкли от этого шума», что «le prince Курылкин, jeune

<sup>1</sup> манера говорить (франц.).

<sup>2</sup> что там никогда не чувствуешь себя дома (франц.)

homme tout-à-fait charmant, – mais que ça reste entre nous – m'a fait tellement la cour,<sup>3</sup> что просто совестно! – но все-таки какое же сравнение наш милый, наш добрый, наш тихий Крутогорск!»

– Душка Крутогорск! – пищит княжна.

– Да, Крутогорск... – отзывается князь, плотоядно улыбаясь.

Страсть к французским фразам составляет общий недуг крутогорских дам и девиц. Собираются девицы, и первое у них условие: «Ну, mesdames, с нынешнего дня мы ни слова не будем говорить по-русски». Но оказывается, что на иностранных языках им известны только две фразы: *permettez-moi de sortir*<sup>4</sup> и *allez-vous en*!<sup>5</sup> Очевидно, что всех понятий, как бы они ни были ограничены, этими двумя фразами никак не выразишь, и бедные девицы вновь осуждены прибегнуть к этому дубовому русскому языку, на котором не выразишь никакого тонкого чувства.

Впрочем, сословие чиновников – слабая сторона Крутогорска. Я не люблю его гостиных, в которых, в самом деле, все глядит как-то неуклюже. Но мне отраднее и веселее шататься по городским улицам, особенно в базарный день, когда они кипят народом, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Столица этого простодушия – Крутогорск. Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает, что что бы ни выпало на его долю – горе ли, радость ли, – все это его, его собственное [2], и не ропщет. Иногда только он вздохнет да промолвит: «Господи! кабы не было блох да станowych, что бы это за рай, а не жизнь была!» – вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных.

Купечества в Крутогорске нет. Коли хотите, проживают в нем так называемые негоцианты, но они пробубнилились до такой степени, что, кроме ношебного платья и неоплатных долгов, ничего не имеют. Сгубила их неосновательность рассудка да пристрастие к пиджакам и крепким напиткам. Пробовали было они поначалу, когда деньги еще кой-какие водились, на свой капитал торговать, да нет, не спорится! Сведет негоциант к концу года счета – все убыток да убыток, а он ли, кажется, не трудился, на пристани с лихими людьми ночи напролет не пропивывал, да последней копейки в картеж не проигрывал, все в надежде увеличить родительское наследство! – Не везет! Пробовали они и на комиссию закупы разного товара делать, и тут оказались провинности: купит негоциант щетины да для коммерческого оборота в нее песочку подсыплет, а не то хлебца такого поставит, чтоб хрусту побольше ощущалось – отказали и тут. Господи! совсем коммерцией заниматься нельзя.

Но вот наступает воскресенье; весь город с раннего утра в волнении, как будто томим недугом. На площадях шум и говор, по улицам езда страшная. Чиновники, не обуздываемые в этот день никаким присутственным местом, из всех сил устремляются к его превосходительству поздравить с праздником. Случается, что его превосходительство не совсем благосклонно смотрит на эти поклонения, находя, что они вообще не относятся к делу, но духа времени изменить нельзя: «Помилуйте, ваше превосходительство, это нам не в тягость, а в сладость!»

– Сегодня отличная погода, – говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.

<sup>3</sup> Князь Курылкин, совершенно очаровательный молодой человек – но пусть это останется между нами – так ухаживал за мной (франц.).

<sup>4</sup> позвольте мне выйти (франц.).

<sup>5</sup> убирайтесь вон! (франц.)

Ее превосходительство слушает с видимым участием.

– Только жарко немножко-с, – отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле, – я, ваше превосходительство, потею...

– Как здоровье вашей супруги? – спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру, с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.

– Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...

Ее превосходительство решительно теряется. Общее смущение.

– А у нас, ваше превосходительство, – говорит Порфирий Петрович, – случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу – ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: «Позовемте, господа, архивариуса, – может быть, он поймет». И точно-с, призываем архивариуса, прочитал он бумагу. «Понимаешь?» – спрашиваем мы. «Понимать не понимаю, а отвечать могу». Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили. Общий хохот.

– Любопытно, – говорит его превосходительство, – удовлетворится ли Рожновская палата?

– Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вот они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет...

Но я предполагаю, что вы – лицо служащее и не заживаетесь в Крутогорске подолгу. Вас посылают по губернии обревизовать, изловить и вообще сделать полезное дело.

Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особенно в летнее теплое время, если притом предстоящие вам переезды неустойчивы, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, – дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно обращается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадается по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа [3], и опять поля, опять лес, земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!

Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это – то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами развертывается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суeta проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоня теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычанья до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но – о чудо! – цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.

– Как тебя зовут? – спрашивает один голос.



– Кого? – отвечает другой.

– Тебя.

– Меня-то?

– Ну да, тебя.

– Зовут-то?

– Ах, чтоб тебя...

Раздаются аплодисменты [4].

– Аким, Аким Сергеев, – торопливо отвечает голос. Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.

Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.

И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи.

А полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...

Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу; но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине.

## ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА

### ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО

*Свежо предание, а верится с трудом... [5]*

«...Нет, нынче не то, что было в прежнее время; в прежнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я, теперича, в земском суде заседателем, триста рублей бумажками получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну, и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было – вот что!

Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет, ну, и жили мы тут как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть, или ревизии там какие-нибудь, как нынче, – все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше, народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с; чиновник все тот же, только тоньше, продувнее стал... Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то, и про благо-то общее начнут толковать, инда злость под сердце подступает.

Брали мы, правда, что брали – кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать? как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, всё разговором занимаются, и всё больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок – не слышать, чтоб поправлялся, а крихтит да охает пуще прежнего.

Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, всё дочиста спустишь – как быть? ну, и идешь к исправнику. „Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги!“ Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: „Вы, мол, сукины дети, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, всё в кабак да в карты!“ А потом и скажет: „Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать собирать“. Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! не то чтоб истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.

– Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны, давайте подати.

А сам идешь себе в избу да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замахают, да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: „Будет, мол, вам разговаривать – барин сердится“. Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать – без жеребья русскому мужичку нельзя. Это, значит, дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.

– Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой-царем-то быть! ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!

И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: „Я, дескать, взятку не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной!“ – нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!

– Да нельзя ли, батюшка, хоть до покрова обождать?

Ну, натурально, в ноги.

– Обождать-то, для чего не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду? – судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют-потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четыреста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.

А то вот у нас еще фортель какой был – это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствие и начнешь весь окольный народ сбивать: мало одной волости, так и другую прихватишь – всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый – как есть на все руки. Сгонят человек триста, ну, и лежат они на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного и хлеб, что из дому взял, на исходе, а ты себе сидишь в избе, будто взаправду занимаешься. Вот как видят, что время уходит – полевая-то работа не ждет, – ну, и начнут засылать сотского: „Нельзя ли, дескать, явить милость, спросить, в чем следует?“ Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж им удовольствие не сделать, а коли больно много артачиться станут, ну и еще погодят денек-другой. Главное тут дело – характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут – шалишь! по три пятака, дешевле не могли и думать. Покончивши это, и переспросишь их всех скопом:

– Каков, мол, такой-то Трифон Сидоров? мошенник?

– Мошенник, батюшка, что и говорить – мошенник.

– А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?

– Он, батюшка, он должно.

– А грамотные из вас есть?

– Нет, батюшка, какая грамота!

Это говорят мужички уж повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.

– Ну, ступайте с богом, да вперед будьте умнее.

И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего на несколько минут, да вы посудите, сколько тут вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидишь, кислый хлеб жуешь... другой бы и жизнь-то всю проклял – ну, ничего таким манером и не добудет.

Всему у нас этому делу учитель и заводчик был уездный наш лекарь. Этот человек был подлинно, доложу вам, необыкновенный и на все дела преостроумнейший! Министром ему быть настоящее место по уму; один грех был: к напитку имел не то что пристрастие, а так – какое-то остервенение. Увидит, бывало, графин с водкой, так и задрожит весь. Конечно, и все мы этого придерживались, да все же в меру: сидишь себе да благодумствуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица.

– Я еще как ребенком был, – говорит, бывало, – так мамка меня с ложечки водкой поила, чтобы не ревел, а семи лет так уж и родитель по стаканчику на день отпущать стал.

Так вот этакой-то пройда и наставлял нас всему.

– Мое, говорит, братцы, слово будет такое, что никакого дела, будь оно самой святой пасхи святее, не следует делать даром: хоть гривенник, а слупи, руки не порти.

И уж выкидывал же он колена – утешенье вспомнить! Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшибся – все это ему рука. Да и времена были тогда другие: нынче об таких случаях и дел заводить не велено, а в те поры всякое мертвое тело есть мертвое тело. И как бы вы думали: ну, утонул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иван Петрович знал чем. Приедет в деревню, да и начнет утопленника-то пластать; натурально, понятия тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.

– А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было.

А Гришуха (из понятых) смерть покойника боится, на пять сажен и подойти-то к нему не смеет.

– Ослобони, батюшка Иван Петрович, смерть не могу, нутро измирает!

Ну, и освобождают, разумеется, за посильное приношение. А то другого заставляет внутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечину ослизлую в руке иметь, ну, и откупаются полегоньку, – аи, глядишь, и наколотил Иван Петрович рубликов десяток, а и дело-то все пустяковое.

Однако и страх божий тоже имел: убийцу или душегуба не покроет.

– Вы, братцы, этого греха и на душу не берите, – говорит бывало, – за такие дела и под суд попасть можно. А вы мошенника-то откройте, да и себя не забывайте.

– Да как же, мол, это так, Иван Петрович? – спрашиваем мы.

– А вот как. Убийца-то он один, да знакомых да сватовей у него чуть не целый уезд; ты вот и поди перебирать всех этих знакомых, да и преступника-то подмасли, чтоб он побольше народу оговаривал: был, мол, в таком-то часу у такого-то крестьянина? не пошел ли от него к такому-то? а часы выбирай те, которые нужно... ну, и привлекай, и привлекай. Если умен да дело знаешь, так много тут божьего народа спутать можно; а потом и начинай распутывать. Разумеется, все эти оговоры вздор и кончатся пустяками, да ты-то дело свое сделал: и мужичка от напраслины очистил, и сам сердечную благодарность получил, и преступника уличил.

А то была у нас и такая манера: заведешь, бывало, следствие, примерно хоть по конокрадству; облупишь мошенника, да ипустишь на волю. Смотришь, через месяц опять попался – опять слупишь и опять выпустишь. До тех, сударь, пор этак действуешь, покуда на голубчике, что называется, лягушечьего пуха не останется. Ну, тогда уж шалишь, любезный, ступай в острог и взаправду. Оно, вы скажете, скверно преступника покрывать, а я вам доложу, что не покрывать, а примерно, значит, пользоваться обстоятельствами дела. Ведь мы знаем, что он наших рук не минует, так отчего ж и не потешить его?

Жил у нас в уезде купчина, миллионщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо востро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует да бутылочку холодненького разопьет с нами – вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца купчишку на дело натравить – не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумает он что-нибудь, право выдумает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.

– А что, – говорит, – дашь половину, коли купец тебе тысячи две отвалит?

– Да что ты, Иван Петрович, в уме ли? две тысячи!

– А вот увидишь; садись и пиши:

„Свиногорскому первой гильдии купцу [6] Платону Степанову Троекурову. Ведение. По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убийстве, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь, скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить“.

– Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

– Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую „При дороженьке стояла“, а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

– Не угодно ли, мол, чаю откушать?

– Какой, брат, тут чай! – говорит Иван Петрович, – тут нечего чаю, а ты пруд спускать вели.

– Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите!

– Как разорять! видишь, следствие приехали делать, указ есть.

Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, запла-тил три тысячи, ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючьями в воде потыкали, и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощение, когда уж были мы все выпивши, и Расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь!

Чудовый это был человек, нечего и говорить. За что ни возьмется, все у него так выходит, что любо-дорого смотреть. Кажется, пустая вещь оспопрививанье, а он и тут сумел найтись. Приедет, бывало, в расправу и разложит все эти аппараты: токарный станок, пила разные, под-пилки, сверла, наковальни, ножи такие страшнейшие, что хоть быка ими резать; как соберет на другой день баб с ребятами – и пошла вся эта фабрика в действие: ножи точат, станок гремит, ребята режут, бабы стонут, хоть святых вон понеси. А он себе важно этак похаживает, трубочку покуривает, к рюмочке прикладывается да на фельдшеров покрикивает: „точи, дескать, вост-рее“. Смотрят глупые бабы да пуще воют.

– Смотри, тетка, ведь совсем робенка-то изведет ножищем-то. Да и сам-то, вишь, пьяный какой!

Повоют-повоют, да и начнут шептаться, а через полчаса, смотришь, и выйдет всем одно решение: даст кто целковый – ступай домой, а не даст, так всю руку напрочь.

И ведь не то чтоб эти дела до начальства не доходили: доходили, сударь, и изловить его старались, да не на того напали – такие штуки отмачивал под носом у самого начальства, что только помираешь со смеху. Был у нас это рекрутский набор объявлен; ну, и Иван Петрович, само собой, живейшее тут участие принимал. Такие случаи, доложу вам, самые были для него выгодные, и он смеючись набор своим сенокосом звал. На ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!!! (и в старину такие скареды прорывались). Вот и вздумал он поймать Ивана Петровича, и научи же он мещанинишку: „Поди, мол, ты к лекарю, объясни, что вот так и так, состою на рекрутской очереди не по сущей справедливости, семейство большое: не будет ли отеческой милости?“ И прилагательным снабдили, да таким, знаете, все полуимперьялами, так, чтоб у лекаря нутро разгорелось, а за оградой и свидетели, и все как следует устроено: погиб Иван Петрович, да и все тут. Только узнал он об этой напасти загодя, от некоторого милостивца, и сидит себе как ни в чем не бывало. Ну, и подлинно, приходит это мещанинишка, излагает все обстоятельно и прилагательное на стол кладет. Как он все это рассказал, как взбе-ленится мой Иван Петрович, да на него:

– Ка-а-к! ты подкупать меня! да разве я фальшивую присягу-то принял! душе, что ли, я своей ворог, царствия небесного не хочу!

Да как хватит кулаком по столу – золотушки-то и покатались по полу, а сам еще пуще кричит:

– Вон с моих глаз, анафема! гони его, вот так, в шею его, кулаками-то в загорбок!

Мещанинишку выгнали, да на другой день не смотря и забрили в присутствии. А импе-рьяльчики-то с полу подняли! Уж что смеху у нас было!

Женился он самым, то есть, курьезнейшим образом. Обещал ему тесть пять тысяч, а как дело кончилось – не дает, да и шабаш. И не то чтоб денег у него не было, а так, сквалыга был, расстаться с ними жаль. Ждет Иван Петрович месяц, ждет другой; каждой-то день жену бьет, а тестя непристойно обзывает – не берет. А деньги получать надо. Вот и слышим мы

как-то: болен Иван Петрович, в белой горячке лежит, на всех это кидается, попадись под руку ножик – кажется, и зарежет совсем. И так, сударь, искусно он всю эту комедию подделал, что и нас всех жалость взяла. Жену бил пуще прежнего, из окошка, сударь, прыгал, по улицам в развращенном виде бегал. Вот, покуролесивши этак с неделю, выходит он однажды ночью, и прямо в дом к тестю, а в руках у него по пистолету.

– Ну, говорит, подавай теперь деньги, а не то, видит бог, пришибу.

Старик перепугался.

– Ты, говорит, думаешь, что я и впрямь с ума спятил, так нет же, все это была штука. Подавай, говорю, деньги, или прощайся с жизнью; меня, говорит, на покаянье пошлют, потому что я не в своем уме – свидетели есть, что не в своем уме, – а ты в могилке лежать будешь.

Ну, конечно-с, тут разговаривать нечего: хочь и ругнул его тесть, может и чести коснулся, а деньги все-таки отдал. На другой же день Иван Петрович, как ни в чем не бывало. И долго от нас таился, да уж после, за пуншиком, всю историю рассказал, как она была.

И не себя одного, а и нас, грешных, неоднократно выручал Иван Петрович из беды. Приезжала однажды к нам в уезд особа, не то чтоб для ревизии, а так – поглядеть.

Однако пошли тут просьбы да кляузы разные, как водится, и всё больше на одного заседателя. Особа была добрая, однако рассвирепела. „Подать, говорит, мне этого заседателя“.

А он, по счастью, был на ту пору в уезде, на следствии, как раз с Иваном Петровичем. Вот и дали мы им знать, что будут завтра у них их сиятельство, так имели бы это в предмете, потому что вот так и так, такие-то, мол, их сиятельство речи держит. Струсил наш заседатель, сконфузился так, что и желудком слабеть начал.

– А что, – говорит Иван Петрович, – что дашь? выручу из беды.

– Да жизни не пожалею, Иван Петрович, будь благодетель.

– Что мне, брат, в твоей жизни, ты говори дело. Выручать так выручать, а не то выпутывайся сам как знаешь.

Сторговались они, а на другой день и приезжают их сиятельство ранехонько. Ну и мы, то есть весь земский суд, натурально тут, все в мундирах; одного заседателя нет, которого нужно.

– А где заседатель Томилкин? – спрашивают их сиятельство.

– Имею честь явиться, – отвечает Иван Петрович. Мы так и похолодели.

А их сиятельство и не замечают, что мундир-то совсем не тот (даже мундира не переменил, так натуру-то знал): зрение, должно полагать, слабое имели.

– На вас, – говорят их сиятельство, – множество жалоб, и притом таких, что мало вас за все эти дела повесить.

– Невинно, видит бог, невинно оклеветали меня враги перед вашим сиятельством; осмелюсь униженно просить выслушать меня и надеюсь вполне оправдаться, но при свидетелях ощущаю робость.

Их сиятельство уважили; пошли они это в другую комнату; целый час он там объяснял: что и как – никому неизвестно, только вышли их сиятельство из комнаты очень ласковы, даже приглашали Ивана Петровича к себе, в Петербург, служить, да отказался он тем, что скромн и столичного образования не имеет.

А ведь и дел-то он тех в совершенстве не знал, о которых его сиятельству докладывал, да на остроумие свое понадеялся, и не напрасно.

Один был грех на его душе, великий грех – инородца загубил. Вот это как было. Уезд наш, известно вам, господа, лесной, и всё больше живут в нем инородцы. Народ простоуднейший и зажиточный. Только уж очень неопратно себя держат, и болезни это у них иностранные развелись, так, что из рода в род переходят. Убьют они это зайца, шкуру с него сдерут, да так, не потроша, и кидают в котел варить, а котел-то не чищен, как сделан; одно слово, смрад нестерпимый, а они ничего, едят всё это месиво с аппетитом. С одной стороны, и не стоит этаким народ, чтоб на него внимание обращать: и глуп-то, и необразован, и нечист –

так, истукан какой-то. Вот ходил один инородец белку стрелять, да и угоразди его каким-то манером невзначай плечо себе прострелить. Хорошо. Само собой, следствие; ну, невзначай так невзначай, и суд уездный решил дело так, что предать, мол, это обстоятельство воле божьей, а мужика отдать на излечение уездному лекарю. Получил Иван Петрович указ из суда – скучно ехать, даль ужасная! – однако вспомнил, что мужик зажиточный, недели с три пообождал, да как случилось в той стороне по службе быть, и к нему заодно заехал. А у того между тем и плечо-то совсем зажило. Приехал, теперича, прочитал указ.

– Раздевайся, говорит.

– Да у меня, бачка, плечом савсем здоров, – говорит мужик, – уж пятым неделем здоров.

– А это видишь? видишь, идолопоклонник ты этакой, указ его императорского величества? видишь, лечить тебя велено?

Делать нечего, разделся мужик, а он ему и ну по живому-то месту ковырять. Ревет дурак благим матом, а он только смеется да бумагу показывает. Тогда только кончил, как тот три золотых ему дал.

– Ну, говорит, бог с тобой.

Понадобились Ивану Петровичу опять деньги, он опять к инородцу лечить, да таким манером больше году его томил, покуда всех денег не высосал. Исхудал мужичонка, не ест, не пьет – бредит лекарем. Однако как заметил, что тут взятки-то гладки, перестал ездить. Отдохнул мужик и смотреть веселее стал. Вот однажды и случилось какому-то чиновнику, совсем постороннему, проезжать мимо этой деревни, и спросил он у поселян, как, мол, живет такой-то (его многие чиновники, по хлебосольству, знавали). Вот и говорят мужику, что тебя, мол, какой-то чиновник спрашивал. Что ж, сударь? представься ему, что это опять лекарь лечить его хочет; пошел домой, ничего никому не сказал, да за ночь и удавился.

Ну, это, я вам доложу, точно грех живую душу таким родом губить. А по прочему по всему чудовый был человек, и прегостеприимный – после, как умер, нечем похоронить было: все, что ни нажил, все прогулял! Жена до сих пор по миру ходит, а дочки – уж бог их знает! – кажись, по ярмонкам ездят: из себя очень красивы.

Так вот-с какие люди бывали в наше время, господа; это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, всё народ-аматёр был. Нам и денег, бывало, не надобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай да прожект составь, а потом и пользуйся.

А нынче что! нынче, пожалуй, говорят, и с откупщика не бери. А я вам доложу, что это одно только вольнодумство. Это все единственно, что деньги на дороге найти, да не воспользоваться... Господи!»

– Как же вы-то попались, Прокофий Николаич, если в ваше время все так счастливо сходило?

– Ох, уж и не говорите! на таком деле попался, что совестно сказать, – на мертвом теле. Эта у нас музыка-то по нотам разыгрывалась, а меня на ней-то и попутал лукавый. Дело было зимнее; мертвое-то тело надо было оттаять; вот и повезли мы его в что ни на есть большую деревню, ну, и начали, как водится, по домам возить да отсталого собирать. Возили-возили, покуда осталась одна только изба: солдатка-вдова там жила; той заплатить-то нечего было – ну, там мы и оставили тело. Собрали на другой день понятых, ну, и тут, разумеется, покорыстоваться желалось: так чтоб не разошлись они по домам, мы и отобрали у них шапки, да в избу и заперли. Только не совсем осторожно это дело соорили, больно многие это заприметили. А на ту пору у нас губернатор – такая ли собака был, и теперь еще его помню, чтоб ему пусто было. Сейчас это отрешили от должности, и пошла писать. Уличить-то меня доподлинно не уличили, а обпакостили всего да суду предали. И верите ли, ведь знаю я, что меня *учиняют от дела свободным*, потому что улик прямых нет, так нет же, злодеи, истомили всего. Лет десять

все волочат: то справки забирают, то следствие дополняют. А я вот сиди без хлеба да жди у моря погоды.



## ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЪЯЧЕГО

«А вот городничий у нас был – этот другого сорта был мужчина, и подлинно гусь лапчатый назваться может. Прозывался он Фейером, родом был из немцев; из себя не то чтоб видный, а больше жилистый, белокурый и суровый. То и дело, бывало, брови насупливает да усами шевелит, а разговаривает совсем мало. Уж это, я вам доложу, самое последнее дело, коли человек белокурый да суров еще: от такого ни в чем пардону себе не жди. Снаружи-то он будто и не злобствует, да и внутри, может, нет у него на тебя негодования, однако хуже этого человека на всем свете не сыщешь: весь как есть злющий. Уж что забрал себе в голову – не выбьешь оттоль никакими средствами, хошь режь ты его на куски. Уж на что Иван Петрович, а и тот его побаивался. Говорил он басом, как будто спросонья и все так кратко – одно-два слова, больше изо рта не выпустит. А на дела и на всю эту полицейскую механику был предошлый: готов не есть, не пить целые сутки, пока всего дела не приделает. Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как, собственно, он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь – он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку сошьет, да ею же кого следует и удавит.

По той единственной причине ему все его противоестественности с рук и сходили, что человек он был золотой. Напишут это из *губернии* – рыбу непременно к именинам надо, да такая чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой – есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут: личность; то молок мало, то пером не выходит, величественности настоящей не имеет. А у нас в губернии любят, чтоб каждая вещь в своем, то есть, виде была. Задумается Фейер, да и засадит всех рыболовов в сибирку. Те чуть не плачут.

- Да помилуй, ваше благородие, где ж возьмешь эку рыбу?
- Где? А в воде?
- В воде-то знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?
- Ты рыболов? говори, рыболов ли ты?
- Рыболов-то я точно что рыболов...
- А начальство знаешь?
- Как не знать начальства: завсегда знаем.
- Ну, следственно...

И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях.

Или, бывало, желательно губернии перед начальством отличиться. Пишут Фейеру из губернии, был чтоб бродяга, и такой бродяга, чтобы в нос бросилось. Вот и начнет Фейер по городу рыскать, и все нюхает, к огонькам присматривается, нет ли где сборища.

Попадают все больше бабы.

- Откуда? – спрашивает Фейер.
- Да я, ваше благородие, оттуда, из села из того...
- Откуда? – повторяет Фейер.
- А вот, ваше благородие, по сиротству: по четвертому годку от родителей осталась...
- Обыскать ее!

Однако от начальства настояние, а об старухе какой-нибудь, безногой, докладывать не осмеливается. Вот и нападет уже он под конец на странника заблудшего, так, бродягу бесталанного.

- Ты, – говорит, – кто таков?

– А я, ваше благородие, с малолетства по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать – сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверьми дикими, в пустынях жил со львы лютыми; слеп был и прозрел, нем – и возглаго-

лал. А более ничего вашему благородию объяснить не могу, по той причине, что сам об себе сведений никаких не имею.

– А это что?

Возьмет он сумку странническую, а там всё цветнички [7] да записочки разные, а в записочках-то уж чего-чего не наврано! И „горнего-то Иерусалима жителю“, и „райского жития ревнителю“, и „паче звезд небесных добродетелями изукрашенному“!

– Это что? – спрашивает Фейер.

– А это так-с, ваше благородие; намерднись на базаре ходил, так в снегу в тряпочке нашел-с.

– Марш!

Повлекут раба божия в острог, а на другой день и идет в губернию пространное донесение, что вот так и так, „имея неусыпное попечение о благоустройстве города“ – и пошла писать. И чего не напишет! И „изуверство“, и „деятельные сношения с единомышленниками“, и „плевелы“, и „жатва“ – все тут есть.

Случалось и мне ему в этих делах содействовать – истинно-с диву дался. Выберем, знаете, время – сумеречки, понятых возьмем, сотских человек пяток, да и пойдем с обыском. И все врассыпную, будто каждый по своему делу. Как подходишь, где всему происшествию быть следует, так не то чтоб прямо, а бочком да ползком пробираешься, и сердце-то у тебя словно упадет, и в роту сушить станет. Ворота и ставни – все наглухо заперто. Походит Фейер около дома, приищет скважинку и начнет высматривать, а мы все стоим, молчим, не шелохнемся. Собака начнет ворчать – у него и хлеба в руке есть, и опять все затихнет. Как все заприметит, что ему нужно, ну и велит в ворота стучаться, а сам покуда все в скважинку высматривает.

– Кто тут? – кричат изнутри.

– Городничий.

Известное дело, смятение: начнут весь свой припас прятать, а ему все и видно. Отопрут наконец. Стоят они все бледные; бабы, которые помоложе, те больше дрожат, а старухи так совсем воют. И уж все-то он углы у них обшарит, даже в печках полюбопытствует, и все оттоль попытаскает.

Смолоду, однако, жизнь его совсем не такая была. Отец у него был человек богатый и дворянин, и нашему Фейеру, рассказывают, восемьсот душ оставил. Однако он не долго с ними носился: годика через два все спустил. И не то чтоб на что-нибудь путное, а так – все прахом пошло. Служил он где-то в гусарах – ну, на жидов охоту имел: то возьмет да собаками жида затравит, то посадит его по горло в ящик с помоями, да над головой-то саблей и махает, а не то еще заложит их тройкой в бричку, да и разъезжает до тех пор, пока всю тройку не загонит. Таким-то родом и прожил он все, да как остался без хлеба, так откуда и ум взялся. Такой ли зверь сделался, что боже упаси.

Женат он не был, а жила с ним девица не девица, а просто мадам. Звали ее Каролиной, и уж, я вам доложу, этакой красоты я и не привидывал. Не то чтоб полная была или краснощекая, как наши барыни, а шикая да беленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такие мягкие да ласковые, что, кажется, зверь лютый – и тот бы не выдержал – укротился. И подлинно, грех сказать, чтоб он ее не любил, а больше так все об ней одной и в мыслях держал. Известно, могла бы она и попридерживать его при случае, да уж очень смирна была; ну, и он тоже осторожность имел, во все эти дразги ее не вмешивал. Приедет, бывало, домой весь измученный и пойдет к ней. И делается такой, сударь, ласковый да нежный: „Каролинхен да Каролинхен“, – и все это ей ручки целует и головку гладит. Или возьмет начнет немецкие песни петь – оба и плачут сидят. Выходит, у всякого человека есть пункт, что с своей дороги его сбивает.

Прислан был к нам Фейер из другого города за отличие, потому что наш город торговый и на реке судоходной стоит. Перед ним был городничий, старик, и такой слабый да добрый.

Оседлали его здешние граждане. Вот приехал Фейер на городничество, и сзывает всех заводчиков (а у нас их не мало, до пятидесяти штук в городе-то).

– Вы, мол, так и так, платили старику по десяти рублей, ну а мне, говорит, этого мало: я, говорит, на десять рублей наплевать хотел, а надобно мне три беленьких с каждого хозяина.

Так куда тебе, и слушать не хотят.

– Видали мы-ста эких шелкоперов, и не таких угоманивали; не хочешь ли, мол, этого выкусить!

Известно, народ все буян был.

– Ну, – говорит, – так не хотите по три беленьких?

– Пять рубликов, – кричат, – ни копейки больше.

– Ладно, – говорит.

Через неделю, глядь, что ни на есть к первому кожевенному заводчику с обыском: „Кожито, мол, у тебя краденые“. Краденые не краденые, однако откуда взялись и у кого купил, заводчик объяснить не мог.

– Ну, – говорит, – не давал трех беленьких, давай пятьсот.

Тот было уж и в ноги, нельзя ли поменьше, так куда тебе, и слушать не хочет.

Отпустил его домой, да не одного, а с сотским. Принес заводчик деньги, да все думает, не будет ли милости, не согласится ли на двести рублей. Сосчитал Фейер деньги и положил их в карман.

– Ну, – говорит, – принеси остальные триста.

Опять кланяться стал купец, да нет, одеревенел человек как одеревенел, твердит одно и то же. Попробовал еще сотню принести: и ту в карман положил, и опять:

– Остальные двести!

И не выпустил-таки из сибирки, доколе всё сполна не заплатил.

Видят парни, что дело дрянь выходит: и камнями-то ему в окна кидали, и ворота дегтем по ночам обмазывали, и собак цепных отравливали – неймет ничего! Раскаялись. Пришли с повинной, принесли по три беленьких, да не на того напали.

– Нет, – говорит, – не дали, как сам просил, так не надо мне ничего, коли так.

Так и не взял: смекнул, видно, что по разноте-то складнее, нежели скопом.

Как сейчас помню я, приехал к нам в город сынок купеческий к родным погостить. Ну, все это ему нипочем, сигары, теперича, не сигары, лошади не лошади, пальто не пальто – кути душа! Соберет это женский пол, натопит в комнате, да и дебоширствует. Не по нутру это Фейеру, потому что насчет чего другого, а насчет нравственности лев был! – однако терпит сидит. Видит купчик, что ничего, все ему поблажает, он и тон задавать начал. Стали доходить до городничего слухи, что он и там и в другом месте чести его касался. „Я, мол, говорит, и любовницу-то его куплю, как захочу; слышь вы, девки, желательно вам, чтоб городничий танции разные представлял? Это нам все наплевать; пошлем две сотни и сделаем себе удовольствие!“

Молчит Фейер, только усами, как таракан, шевелит, словно обнюхивает, чем пахнет. Вот и приходит как-то купчик в гостиный двор в лавку, а в зубах у него сигарка. Вошел он в лавку, а городничий в другую рядом: следил уж он за ним шибко, ну, и свидетели на всякий случай тут же. Перебирает молодец товары, и всё швыряет, всё не по нем, скверно да непотребно, да и все тут; и рисунок не тот, и доброта скверная, да уж и что это за город такой, что, чай, и ситцу порядочного найти нельзя.

Ну, купец ему и то и се, и разные резоны говорит.

– Ты, – говорит, – молодец, не буянь, да сигарку-то кинь, не то, чего доброго, городничий увидит.

– А плевать я, – говорит, – на вашего городничего...

В эвто в самое время как быть к вечерне ударили.

– Ты бы, – говорит лавочник, – хоть бога-то побоялся бы, да лоб-от перекрестил: слышь, к вечерням звонят...

А он, заместо ответа, такое, сударь, тут загнул, что и хмельному не выговорить.

Оборачивается, а Фейер тут как тут, словно из земли вырос.

– Не угодно ли, – говорит, – вам повторить то, что вы сейчас сказали?

– Я... я ничего не говорил, ей-богу, не говорил...

– Православные! слышали?

– Слышали, ваше высокоблагородие.

– Марш!

На другой день рассказывает нам городничий всю эту историю.

„Поздравьте, говорит, меня с крестником“. Что бы вы думали? две тысячи взял, да из городу через два часа велел выехать: „Чтоб и духу, мол, твоего здесь не пахло“.

Да и мало ли еще случаев было! Даже покойниками, доложу вам, не брезговал! Пронюхал он раз, что умерла у нас старуха раскольница и что сестра ее собирается похоронить покойницу тут же у себя, под домом. Что ж он? ни гугу, сударь; дал всю эту церемонию исполнить да на другой день к ней с обыском. Ну, конечно, откупилась, да штука-то в том, что каждый раз, как ему деньги понадобятся, каждый раз он к ней с обыском:

„Куда, говорит, сестру девала?“ Замучил старуху совсем, так что она, и умирая, позвала его да и говорит: „Спасибо тебе, ваше благородие, что меня, старуху, не покинул, венца мученического не лишил“. А он только смеется да говорит: „Жаль, Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги надобны! да куда же ты, старая, сестру-то девала?“

А то еще вот какой случай был. Умер у нас в городе купец, и купец, знаете, не из мелконьких. Служил он как-то в городе, головой ли, бургомистром ли, доподлинно теперь не упомяну, только мундирчика по закону не выслужил. Ну, родственники, сами изволите ведать, народ безобразнейший, в законе не искусились: где же им знать, что в правиле и что не в правиле? Вот, сударь мой, и решили они семейным советом похоронить покойника во всем парате. Пронюхал сначала всю эту штуку стряпчий. Человек этот был паче пса голодного и Фейером употреблялся больше затем, что, мол, ты только задери, а я там обделаю дело на свой манер. Приходит он к городничему и рассказывает, что вот так и так, „желает, дескать, борода в землю в мундире лечь, по закону же не имеет на то ни малейшего права; так не угодно ли вам будет, Густав Карлыч, принять это обстоятельство к соображению?“

– Можно, – говорит, – валяй отношение.

А купчину тем временем и в церковь уж вынесли... Ну-с и взяли они тут, сколько было желательно, а купца так в парате и схоронили...

А впрочем, мы, чиновники, этого Фейера не любили. Первое дело, он нас перед начальством исполнительностью в сумнение приводил, а второе, у него все это как-то уж больно просто выходило, – так, ломит нахрапом сплеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!

Однако в городе эти купчишки да мещанишки лет десять с ним маялись-маялись и, верите ли, полюбили под конец. Нам, говорят, лучше городничего и желать не надо! Привычка-с».

## НЕПРИЯТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

*Вы послушайте, ребята,  
Как жилали при Аскольде!  
(Из оперы «Аскольдова могила»)*

Темно. По улицам уездного городка Черноборска, несмотря на густую и клейкую грязь, беспрестанно снуют экипажи самых странных видов и свойств. Городничий уже раз десять, в течение трех часов, успел побывать у подъезда ярко освещенного каменного дома, чтобы осведомиться о здоровье генерала. Ответ был, однако ж, всякий раз один и тот же: «Его высококорodie изволят еще почивать».

– Так вы уж, пожалуйста, им напомните, как они встанут, – говорил городничий Федору, камердинеру его высококорodie.

– Уж это бесприменно-с, – отвечивал Федор, – они завсегда у нас в послушаньи...

– Так я уж буду в надежде-с...

Городничий, Дмитрий Борисыч Желваков – добрый, крепенький и кругленький, но до крайности робкий старичок. Провинностей за ним особенных не водилось, кроме того, что за стол он садился всякий день сам-двадцат, по случаю непомерного количества дочек, племянниц и других сирот-родственников. За обедом всегда бывало весело, а после обеда вся семья отправлялась, на длинных дрогах, кататься по городу. Это бы еще ничего; Дмитрий Борисыч очень хорошо знал, что начальство не только разрешает, но даже поощряет невинные занятия, и потому не мешал предаваться им малолетним членам своего семейства. Но на беду вмешались тут пожарные лошади. Сами ли эти невинные твари получили на время дар слова, или осунувшиеся их ребра красноречивее языка докладывали о труженическом существовании, которое влачили владельцы их, – неизвестно. Известно только, что его высококорodie каким-то образом об этом обстоятельстве проведал. Обозревая опрятность в городе, его высококорodie счел долгом заехать и на пожарный двор.

– Это что? – спросил он, тыкая пальцем в воздухе, когда вывели лошадей.

Дмитрий Борисыч растерялся и озирался во все стороны, не сообразив вдруг вопроса.

– Это что? – повторил его высококорodie.

– Это... лошади-с! – отвечал смущенный городничий.

– То-то «лошади»! – произнес его высококорodie и, сделавши олимпийский жест пальцем, сел в экипаж.

Я всегда удивлялся, сколько красноречия нередко заключает в себе один палец истинного администратора. Городничие и исправники изведали на практике всю глубину этой тайны; что же касается до меня, то до тех пор, покуда я не сделался литератором, я ни о чем не думал с таким наслаждением, как о возможности сделаться, посредством какого-нибудь чародейства, указательным пальцем губернатора или хоть его правителя канцелярии.

Его высококорodie был, в сущности, очень добрый господин. Телосложения он был хлипкого, имел румяные щеки и густые седые волосы. Это последнее обстоятельство, по моему мнению, однако же, сильно противоречило добродушному выражению лица Алексея Дмитрича (так звали его высококорodie). Неизвестно почему, я с самого малолетства не могу себе вообразить добродетель иначе, как в виде плешивого старца с немного телячьим выражением в очах. По свойственной человечеству слабости, его высококорodie не прочь был иногда задать голово-мойку и вообще учинить такое невежество, от которого затряслись бы поджилки у подчиненного. Так было и в настоящем случае по делу о пожарных лошадях. Алексей Дмитрич очень хорошо сознавал, что на месте Желвакова он бы и не так еще упарил лошадей, но порядок службы громко вопиял о мыле и щелоке, и мыло и щелок были употреблены в дело.

Тем не менее, когда Дмитрию Борисычу объяснили добрые люди, по какой причине его высокородие изволил тыкать пальцем, он впал в ипохондрию. С ним приключился даже феномен, который, наверное, ни с кем никогда не приключался. А именно, ощущая себя в совершенно бодрственном состоянии, он вдруг увидел сон, ужасный, но настоящий сон. Случилось с ним это приключение в то самое время, когда он, после посещения его высокородия, стоял посреди пожарного двора, растопыривши, как следует, руки в виде оправдания. Впоследствии он сам любил рассказывать об этом необыкновенном случае, но, считая его за дьявольское наваждение, всякий раз отплевывался с глубоким омерзением.

– Стою я это, и вижу вдруг, что будто передо мною каторга, и ведут будто меня, сударь, сечь, и кнут будто тот самый, которым я стегал этих лошадей – чтоб им пусто было! Только я будто пал, сударь, на колени, и прошу, знаете, пощады. «Нет, говорит, тебе пощады! сам, говорит, не пощадил невинность, так клади теперича голову на плаху!» Вот я и так и сяк – не проймешь его, сударь, ничем! Только мне и самому будто досадно стало, что вот из-за скотов, можно сказать, бессловесных такое поношение претерпеть должен... «Ну, секи, мол!» – говорю. На этом самом месте и разбудил меня Алексеев, а то бы, может, и бог знает что со мной было! Так вот-с какие приключения случаются!

И точно, все пятеро полицейских и сам стряпчий собственными глазами видели, как Дмитрий Борисыч стал на колени, и собственными ушами слышали, как он благим матом закричал: «секи же, коли так!»

Когда Дмитрий Борисыч совершенно прочухался от своего сновидения, он счел долгом пригласить к себе на совет старшего из пятерых полицейских, Алексева, который, не без основания, слыл в городе правою рукой городничего.

– Слышал? – спросил Дмитрий Борисыч.

– Слышал, – отвечал Алексеев.

– Ну так то-то же! – сказал Дмитрий Борисыч и хотел было погрозить пальцем, по подобию его высокородия, но, должно быть, не изловчился, потому что Алексеев засмеялся.

– Ты чему смеешься? – спросил Дмитрий Борисыч.

– Я не смеюсь... зачем смеяться! – отвечал Алексеев.

– То-то же! смотри, чтоб у меня теперь лошади... ни-ни... никуда... понимаешь! даже на пожар не смей... слышишь? везде брать обывательских, даже для барышень!..

Распорядившись таким образом, он поворотился к окну и увидел на улицах такую грязь, что его собственные утки плавали в ней как в пруде.

– Это что такое? – спросил Дмитрий Борисыч.

– А что «что такое»? – спросил Алексеев.

– Не видишь? – спросил Дмитрий Борисыч.

– Вижу, – сказал Алексеев.

Вся запальчивость и ретивость Желвакова разбились об это патриархальное равнодушие.

– Ты бы хоть тово, что ли, – произнес он немного сконфуженный и отворачиваясь от Алексева, чтоб скрыть свое смущение.

И в самом деле, чего тут «тово», когда уж «грязь так грязь и есть» и «всё от бога».

– Вот кабы мы этому делу причинны были, – глубокомысленно присовокупил Алексеев.

– Ишь его...

«Принесла нелегкая», – хотел было сказать Дмитрий Борисыч, но затруднился, потому что и в мыслях не осмеливался нанести какое-нибудь оскорбление начальству.

Но все это еще не беда. Ну, побранили его высокородие – не повесили же в самом деле! Даже вы не сказали, а продолжали по-прежнему говорить ты и братец. Дело в том, что в этот самый день случилось Дмитрию Борисычу быть именинником, и он вознамерился сотворить для дорогого гостя бал на славу. Каким образом пригласить его высокородие после такого происшествия? Ну, если да они скажут, что «я, дескать, с такими канальями хлеба есть не хочу!» –

а этому ведь бывали примеры. Однако Дмитрий Борисыч приободрился и на обеде у головы, втянув в себя все количество воздуха, какое могли вмещать его легкие, проговорил приглашение не только смелым, но даже излишне звучным голосом. И его высокородие ничего: приняли и даже ласково посмотрели на Дмитрия Борисыча.

– Да, господин Желваков, – сказали его высокородие, – мы приедем, господин Желваков! хорошо, господин Желваков!

По этой-то самой причине и приезжал Дмитрий Борисыч несколько раз в дом купчихи Облепихиной узнать, как почивал генерал и в каком они находятся расположении духа: в веселом, прискорбном или так себе.

Между тем в доме купчихи Облепихиной происходила сцена довольно мрачного свойства. Его высокородие изволил проснуться и чувствовал себя мучительно. На обеде у головы подали такое какое-то странное кушанье, что его высокородие ощущал нестерпимую изжогу, от которой долгое время отплевывался без всякого успеха.

– Черт их знает, чем они там кормят! – бормотал Алексей Дмитрич, – масло, что ли, скверное – просто мочи нет!

И выпил стакан воды.

– Экой народ безобразный! зовет есть, словно не знает, кого зовет! Рыба да рыба – обрадовался, что река близко! Ел, кажется, пропасть, а в животе бурчит, точно три дня не едал! И изжога эта... Эй, Кшецынский!

Вошел господин не столько малого роста, сколько скрюченный повиновением и преданностью.

– Приезжал городничий?

– Никак нет-с.

– Ан, врете вы, приезжал! – раздалось из передней.

– Я не видал, ей-богу не видал, ваше высокородие! – бормотал скороговоркой Кшецынский.

– Приезжал уж раз десять! – произнес камердинер Федор, входя в комнату с стаканом чаю на подносе. – Известно, вы ничего не видите!

– Это правда, Кшецынский, правда, что ты ничего не видишь! Не понимаю, братец, на что у тебя глаза! Если б мне не была известна твоя преданность... если б я своими руками не вытащил тебя из грязи – ты понимаешь: «из грязи»?.. право, я не знаю... Что ж, спрашивал что-нибудь городничий?

– Спрашивал, что, дескать, генерал делают?

– Ну, а ты что?

– Спят, мол; известно, мол, что им делать, как не спать! ночью едем – в карете спим, днем стоим – на квартире спим.

– Ты так и сказал?

– Сказал... отчего не сказать!

– Ска-атина!

На губах Кшецынского появилась бледная улыбка. Очевидно, что между ним и Федором существовало соперничество такого же рода, какое может существовать между хитрою, но забавною амишкой и неуклюжим, но верным полканом. Федор всегда брал верх; он, нимало не стесняясь, оказывал полное презрение к самым законным и неприхотливым требованиям несчастного выходца [8]. Платье и сапоги его оставались нечищенными, а наместо чая подавалась ему какая-то странная смесь, более похожая на брагу, нежели на чай. За обедом Кшецынский не осмеливался оставить на своей тарелке нож и вилку, потому что Федор, без церемонии, складывал их тут же к нему на скатерть. Кшецынский при этом зеленел и вздрагивал, и во рту у него делалось скверно; но все это происходило лишь на одно мгновение, и он снова потуплял глаза в тарелку. Когда ему подавали кушанье (а подавали ему всегда последнему), Федор

никогда не забывал толкнуть его в плечо, если Кшецынский, по его мнению, недостаточно проворно брал кушанье. Больше одного куска ему брать не позволялось. Вообще, присутствие Кшецынского за барским столом составляло для Федора предмет постоянных и мучительнейших размышлений.

– И что это за барин такой! – говаривал он обыкновенно в таких случаях об Алексее Дмитриче, – просто шавку паршивую с улицы поднял и ту за стол посадил!

Но на этот счет Алексей Дмитрич оставался непреклонным. Кшецынский продолжал обещать за столом его высокородия, и – мало того! – каждый раз, вставая из-за стола, проходил мимо своего врага с улыбкою, столь неприметною, что понимать и оценить всю ее ядовитость мог только Федор. Но возвратимся к рассказу.

В передней послышалось шарканье.

– Да вот и он! – сказал Федор и, обращаясь к Дмитрию Борисычу, прибавил: – А вот меня из-за вас, сударь, обругали тут! Зачем только вас носит сюда!

– А! это ты, господин Желваков! милости просим, господин Желваков! прошу садиться, господин Желваков! – молвил его высокородие, кротно улыбаясь.

– Осмелюсь просить ваше высокородие...

– Помню, господин Желваков! будем, будем, господин Желваков! Кшецынский! и ты, братец, можешь с нами! Смотри же, не ударь лицом в грязь: я люблю, чтоб у меня веселились... Ну, что новенького в городе? Как поживают пожарные лошадки?

Желваков побледнел.

– Ну, да ты не тово! я это так! А дать господину Желвакову чаю!

Федор явился с стаканом, который не столько подал, сколько сунул в руку Дмитрию Борисычу.

– Да ты попробуй прежде, есть ли сахар, – сказал его высокородие, – а то намеренсь, в Окове, стряпчий у меня целых два стакана без сахара выпил... после уж Кшецынский мне это рассказал... Такой, право, чудак!.. А благонравный! Я, знаешь, не люблю этих вот, что звезды-то с неба хватают; у меня главное, чтоб был человек благонравен и предан... Да ты, братец, не торопись, однако ж, а не то ведь язык обожжешь!

– Помилуйте, ваше высокородие, мы завсегда с полным нашим удовольствием...

Между тем для Дмитрия Борисыча питье чая составляло действительную пытку. Во-первых, он пил его стоя; во-вторых, чай действительно оказывался самый горячий, а продлить эту операцию значило бы снежничать перед его высокородием, потому что если их высокородие и припускают, так сказать, к своей высокой особе, то это еще не значит, чтоб позволительно было утомлять их зрением исполнением обязанностей, до дел службы не относящихся.

– Да ты, братец, садись.

– Помилуйте, ваше высокородие...

– Садись, братец.

– Не в таких чинах, ваше высокородие...

– Ну, как хочешь.

– Исправник Маремьянкин! – провозглашает Федор.

– Так я буду в надежде-с, ваше высокородие! – говорит Дмитрий Борисыч, в последний раз обжигая губы и удаляясь с стаканом в переднюю.

– А! Живоглот! – говорит Алексей Дмитрич, – добро пожаловать! Молодец, брат, молодец! Ни соринки в суде нет! Молодец, господин Живоглот!

Исправник Маремьянкин мужчина вершков пятнадцати. Живоглотом он прозван по той причине, что, будучи еще в детстве и обуреваемый голодом, которого требованиям не всегда мог удовлетворить его родитель, находившийся при земском суде сторожем, нередко блуждал по берегу реки и вылавливал в ней мелкую рыбешку, которую и проглатывал живьем, твердо надеясь на помощь Божию и на чрезвычайную крепость своего желудка, в котором, по соб-



ственному его сознанию, камни жерновые всякий злак в один момент перемалывали. Замечательнейшею странностью в его лице было то, что ноздри его представлялись бесстрашному зрителю как бы вывороченными наизнанку, вследствие чего местные чиновники, кроме прозвища Живоглот, называли его еще Пугачевым и «рваными ноздрями».

– Имею честь, – рапортует Живоглот.

– Откуда?

– Из уезда-с. Приключилось умертвие-с. Нашли туловище, а голову отыскать не могли-с.

– Как же, брат, это так?

– С ног сбились искамши, ваше высокородие.

– Как же это? надо, брат, надо отыскать голову... Голова, братец, это при следствии главное... Ну, сам ты согласишься, не будь, например, у нас с тобой головы, что ж бы это такое вышло! Надо, надо голову отыскать!

– Будем стараться, ваше высокородие.

– То-то, любезный! ты пойми, ты вникни в мои усилия... как я, могу сказать, денно и ночью...

– Это справедливо, ваше высокородие.

– Ну, то-то же! Впрочем, ты у меня молодец! Ты знаешь, что вот я завтра от вас выеду, и мне все эта голова показываться будет... так ты меня успокой!

– Помилуйте, ваше высокородие, будьте без сумления-с...

– Убийство, конечно, вещь обыкновенная, это, можно сказать, каждый день случиться может... а голова! Нет, ты пойми меня, ты вникни в мои усилия! Голова, братец, это, так сказать, центр, седалище...

– Найдем-с, – отвечал Живоглот с некоторым ожесточением, как бы думая про себя: «Чтоб тебя прорвало! эк привязался, проклятый!»

– Впрочем, по уезду благополучно?

– Благополучно, ваше высокородие, – ревет Живоглот, раз навсегда закаявшись докладывать его высокородию о чем бы то ни было неблагополучном.

– Воровства нет?

– Никак нет-с.

– Убийств нет?

– Никак нет-с.

– То есть, кроме этой головы... Эта, братец, голова, я тебе скажу... голова эта весь сегодняшний день мне испортила... я, братец, Тит; я, братец, люблю, чтоб у меня тово...

Живоглот потупился. В эту минуту он готов был отрезать себе язык за то, что он сболтнул сдуру этакую скверную штуку.

И хоть бы доподлинно эта голова была, думал он, тысячный раз проклиная себя, а то ведь и происшествия-то никакого не было! Так, сдуру ляпнул, чтоб похвастаться перед начальством деятельностью!

– Ты думаешь, мне это приятно! – продолжал между тем его высокородие, – начальству, братец, тогда только весело, когда все довольны, когда все смотрит на тебя с доверчивостью, можно сказать, с упованием...

Молчание.

– Нет, ты поезжай... ты поезжай! Я не могу! Я спокоен не буду, пока ты в городе.

– Помещик Перегоренский! – докладывает Федор.

Входит Перегоренский, господин лет шестидесяти, но еще бодрый и свежий. Видно, однако же, что, для подкрепления угасающих сил, он нередко прибегает к напитку, вследствие чего и нос его приобрел все возможные оттенки фиолетового цвета. На нем порыжелый фрак с узенькими фалдочками и нанковые панталонцы без штрипок. При появлении его Алексей

Дмитрич прячет обе руки к самым ягодицам, из опасения, чтоб господину Перегоренскому не вздумалось протянуть ему руку.

*Перегоренский.* Защиты! о защите взываю я к вашему высокородию! Защиты невинным, защиты угнетенным!

*Алексей Дмитрич.* Что же такое-с?

*Перегоренский.* Вы извините меня, ваше высокородие! я вне себя! Но я верноподданный, ваше высокородие, я христианин, ваше высокородие! я... человек!

*Алексей Дмитрич.* Позвольте, однако ж, что же такое случилось? И к чему тут «верноподданный»? Мы все здесь верноподданные-с.

*Перегоренский.* Не донос... нет, роля донощика далека от меня! Не с доносом дерзнул я предстать пред лицо вашего высокородия! Чувство сострадания, чувство любви к ближнему одно подвигло меня обратиться к вам: добродетельный царедворец, спаси, спаси погибающую вдову!

*Алексей Дмитрич.* Но позвольте... мне сказали, что вы здешний помещик... зачем же тут вдова?... я не понимаю.

*Перегоренский (вздыхая).* Да-с, я здешний помещик, это правда; я имею, я имею несчастье называться здешним помещиком... У меня семь душ... без земли-с, и только они, одни они поддерживают мое брренное существование!.. Я был угнетен, ваше высокородие! Я был на службе – и выгнан! Я служил честно – и вот предстою нищ и убог! Я имел чувствительное сердце и сохранил его до сих пор! За что же терпел я? За что все гонения судьбы на меня? Не за то ли, что любил правду выше всего! Не за то ли, что, можно сказать, ненавидел ложь и истину царям с улыбкой говорил! [9] Защиты! О защите взываю к тебе, покровитель гонимых и угнетенных!

*Алексей Дмитрич.* Да помилуйте, что же я могу сделать?... Объяснитесь, пожалуйста!

*Перегоренский.* Повторяю вашему высокородию: не донос, которого самое название презрительно для моего сердца, намерен я предъявить вам, государь мой! – нет! Слова мои будут простым извещением, которое, по смыслу закона, обязательно для всякого верноподданного...

*Алексей Дмитрич.* Но в чем же дело? Позвольте... я занят; мне надобно ехать...

*Перегоренский.* Коварный Живоглот...

*Алексей Дмитрич (строго).* Кто же этот Живоглот? Я не понимаю вас; вы, кажется, позволите себе шутить, милостивый государь мой!

*Перегоренский (не слушая его).* Коварный Живоглот, воспользовавшись темнотою ночи, с толпою гнусных наемников окружил дом торгующего в селе Чернораменье, по свидетельству третьего рода, мещанина Скурихина, и алчным голосом требовал допустить его к обыску, под предлогом, якобы Скурихин производит торговлю мышьяком. Причем обозвал Скурихина непотребными словами; за оставление же сего дела втайне, взял с него пятьдесят рублей и удалился с наемниками вспять. Это первый пункт.

*Алексей Дмитрич.* Но где же тут вдова?

*Перегоренский.* Оный Живоглот, описывая, по указу губернского правления, имение купца Гламидова, утаил некие драгоценные вещи, произнося при этом: «Вещи сии пригодятся ребятишкам на молочишко». При сем равномерно не преминул обозвать Гламидова непотребно... (*Пристально смотрит на Алексея Дмитрича, который, в смущении, нюхает табак.*) Сей же Живоглот, придя в дом к отставному коллежскому регистратору Рыбушкину, в то время, когда у того были гости, усиленно требовал, для своего употребления, стакан водки и, получив в том отказ, разогнал гостей и хозяев, произнося при этом: *аллэ машир!*

*Алексей Дмитрич.* Но где же тут вдова?

*Перегоренский.* Но сим не исполнилась мера бесчинств Живогловых. В прошлом месяце, прибыв на ярмонку в село Березино, что на Новом, сей лютый зверь, аки лев рыкая и преисполнившись вина и ярости, избил беспричинно всех торгующих, и дотоле не поло-

жил сокрушительной десницы своей, доколе не приобрел по полтине с каждого воза... (*Торжественно.*) На все таковые противозаконные действия исправника Маремьянкина, в просторечии Живоглотом именуемого, и лютостью своею таковое прозвище вполне заслужившего, имеются надлежащие свидетели, которых я, впрочем, к свидетельству под присягой допустить сомневаюсь.

*Алексей Дмитрич.* Позвольте, однако ж, я все-таки не могу понять, где тут вдова и в какой мере описываемые вами происшествия, или, как вы называете их, бесчинства, касаются вашего лица, и почему вы... нет, воля ваша, я этого просто понять не в состоянии!

*Перегоренский.* Ваше высокородие! Во мне, в моем лице, видите вы единственное убежище общественной совести, Живоглотом попранной, Живоглотом поруганной. Смени Живоглота, добродетельный царедворец! Смени! вопиют к тебе тысячи жертв его зверообразной лютоости!

*Алексей Дмитрич.* Но как же это... я, право, затрудняюсь... Свидетелей вот вы не допускаете... истцов тоже налицо не оказывается.

*Перегоренский (смеется горько и потом вздыхает).* Итак, нет правды на земле! Великий господи! zde предстоит раб лукавый и ленивый (*указывая на Алексея Дмитрича*), который меня же обзывает ябедником и кляузником...

*Алексей Дмитрич (тревожно).* Позвольте, однако, я не называл вас ни ябедником, ни кляузником!

*Перегоренский.* Ябедником и кляузником за то единственно, что я принял на себя защиту невинности! (*К Алексею Дмитричу.*) Государь мой! Необходимость, одна горестная необходимость вынуждает меня сказать вам, что я не премину, при первой же возможности, обратиться с покорнейшею просьбой к господину министру, умолять на коленях его высокопревосходительство... (*Запальчиво.*) Ты узнаешь, да, ты узнаешь, коварный царедворец, что значит презирать советы добродетели! Вспомнутся тебе и рябчики и рыба, посылаемые Живоглотом, яко дань твоей плотоядности! (*Уходит.*)

*Алексей Дмитрич (минут с пять стоит в некотором оцепении, come una statua;<sup>6</sup> просыпаясь).* Черт знает что такое... Эй, Федор! одеваться!

Между тем дом Желвакова давно уже горит в многочисленных огнях, и у ворот поставлены даже плошки, что привлекает большую толпу народа, который, несмотря ни на дождь, ни на грязь, охотно собирается поглазеть, как веселятся уездные аристократы. Гости уже собрались. Оркестр, состоящий из двух флейт и одного контрбаса, сыгрывается в лакейской, наводя нестерпимое уныние на сердца черноборцев извлекаемыми из флейт жалобными звуками. Сальные свечи в изобилии горят во всех комнатах; однако ж в одной из них, предназначенной, по-видимому, для резиденции почетного гостя, на раскрытом ломберном столе горят даже две стеариновые свечи, которые Дмитрий Борисыч, из экономии, тушит, и потом, услышав на улице движение, вновь зажигает. Девушки, взявшись под руку, вереницей ходят по зале, предназначенной для танцевания. Увивающийся около них протоколист дворянской опеки, должно быть, говорит ужасно, смешные вещи, потому что девушки беспрестанно закрывают свои личики платками. В тревожном ожидании проходит два часа, в продолжение которых все бездействует. Некоторые дамы начинают даже выказывать знаки нетерпения. В особенности отличается жена окружного начальника, курящая папиросы и составляющая в уезде постоянную оппозицию.

— Да помилуйте, Дмитрий Борисыч! — говорит она громко, — долго ли же нам дожидаться! Ведь нам-то он даже почти не начальник!

---

<sup>6</sup> как статуя (итал.)

– Уж сделайте ваше одолжение, Степанида Карповна! повремените крошечку-с! Михайло Трофимыч! уговорите Степаниду Карповну! – умоляет Дмитрий Борисыч.

– *Stéphanie, mon ange!* – говорит Михайло Трофимыч, – *il faut donc faire quelque chose pour ces gens-là.*<sup>7</sup>

– Однако ж, Michel! – отвечает Степанида Карповна.

В это время жена уездного судьи, не выражавшая доселе никаких знаков неудовольствия, считает возможным, в знак сочувствия к Степаниде Карповне, пустить в ход горькую улыбку, давно созревшую в ее сердце. Но Дмитрий Борисыч ловит эту улыбку, так сказать, на лету.

– Ну, вы-то что? – говорит он судейше, – ну, Степанида Карповна... это точно! а вы-то что?

И, махнув рукой, бежит дальше.

Однако же Дмитрий Борисыч далеко не спокоен. Два обстоятельства гложут его сердце. Во-первых, известно ему, что у его высокородия в настоящее время пропекается Перегоренский. «Опакостит он, opakостит нас всех, бестия!» – думает Дмитрий Борисыч. Во-вторых, представляется весьма важный вопрос: будет ли его высокородие играть в карты, и если не будет, то каким образом занять ихнюю особу? Партию для его высокородия он уж составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сюртуков, окружной начальник, молодой человек, образованный и с направлением; ассессор палаты, Кшепищицольский, тоже образованный и с направлением, и, наконец, той же палаты чиновник особых поручений Пшикшещицольский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по сколько угодно.

– Господи! кабы не было хозяйственных управлений, – говорит про себя Дмитрий Борисыч, – пропала бы моя головушка!

И, второпях, с размаху останавливается перед уездным судьей, скромно сидящим в углу, и, задумавшись, рассуждает во всеуслышание:

– Что, если бы всё этакие-то были! Вон он какой убогой! нищему даже подать нечего!

– Нет! куда нам! – говорит, махая руками, судья, который, от старости, недослышит, и думает, что Дмитрий Борисыч приглашает его составить партию для высокоименитого гостя.

Но вот вламывается в дверь Алексеев и изо всей мочи провозглашает: «Левизор! левизор едет!» Дмитрий Борисыч дрожащими руками зажигает стеариновые свечи, наскоро говорит музыкантам: «Не осрамите, батюшки!» – и стремглав убегает на крыльцо.

Его высокородие входит при звуках музыки, громко играющей туш. Его высокородие смотрит милостиво и останавливается в зале. Дмитрий Борисыч, скользкий около гостя боком, простирает руку в ту сторону, где приготовлена обитель для его высокородия, и торопливо произносит:

– Сюда пожалуйста, сюда, ваше высокородие!

– Зачем же? мне и здесь хорошо! – говорит его высокородие, окидывая дам орлиным взором, – а впрочем, делай со мною что хочешь! Извините меня, *mesdames*, – я здесь невольник!

И, шаркнувши ножкой, мелкими шагами удаляется в обитель, в дверях которой встречает его сама городничиха, простая старуха, с платком на голове.

– Пожалуйста, ваше превосходительство, пожалуйста, не побрезгуйте! – говорит она, низко кланяясь.

– Извините, сударыня! я еще только «высокородие»! – отвечает Алексей Дмитри и скромно потупляет глаза.

Его высокородие садится на приуготовленном диване; городничиха в ту же минуту скрывается; именитейшие мужи города стоят но стене и безмолвствуют. Его высокородию, очевидно, неловко.

---

<sup>7</sup> Стефания, мой ангел! надо же что-нибудь сделать для этих людей (франц.).

– Прикажете начинать музыке? – спрашивает Дмитрий Борисыч.

– Как же, как же! – отвечает его высокородие. Музыка играет; до слуха его высокородия достигает только треск контрбаса.

– Да ты тут и музыку завел! – замечает его высокородие, – это похвально, господин Желваков! это ты хорошо делаешь, что соединяешь общество! Я это люблю... чтоб у меня веселились...

– Все силы-меры, ваше высокородие... то есть, сколько стаёт силы-возможности, – отвечает Дмитрий Борисыч.

Молчание.

– А вы, господа, разве не танцуете? – спрашивает Алексей Дмитрич, поводя глазами по стене.

Именитые чины, принимая эти слова в смысле приглашения выйти из комнаты, гурьбой направляются в залу. Его высокородие несколько озадачен.

– Что ж это они? – говорит он, хмуря брови, – разве мое общество... кажется, я тово...

Дмитрий Борисыч, в совершенном отчаянье, спешит догнать беглецов.

– Ну, куда же вы, ради Христа? куда вы! – говорит он умоляющим голосом, – Михайло Трофимыч! Мечислав Станиславич! Станислав Мечиславич! хоть вы! хоть вы! ведь это скандал-с! это, можно сказать, неприличие!

Но именитые лица упорствуют. Дмитрий Борисыч вновь прибегает в обитель.

– Ваше высокородие! не соблаговолите ли в карточки?

Алексей Дмитрич затруднен.

– Я... да... я тово... но, право, я не могу придумать, с кем же ты меня... – говорит он.

– На этот счет будьте покойны, ваше высокородие! партия – самая благородная: всё губернские-с...

– Ну да... если партия приличная... отчего же...

Один из партнеров, Михаил Трофимыч, поспешно распечатывает карты и весьма развязно подлетает к его высокородию.

– *Votre Excellence!*<sup>8</sup> – говорит он, подавая карточку.

– *Mais... vous parlez français?*<sup>9</sup> – замечает его высокородие с приятным изумлением.

– Они обучались в университете, – вступается Дмитрий Борисыч, – ихняя супруга первая дама в городе-с.

– А! очень приятно! *J'espère que vous me ferez l'honneur...*<sup>10</sup> очень, очень приятно!

Между тем танцы в зале происходят обыкновенным порядком. Протоколист дворянской опеки превосходит самого себя: он танцует и прямо и поперек, потому что дам вдвое более, нежели кавалеров, и всякой хочется танцевать. Следовательно, кавалеры обязаны одну и ту же фигуру кадрили попеременно отплясывать с двумя разными дамами.

– Фу, упарился! – говорит протоколист, обтирая платком катящиеся по лбу струи пота, – Дмитрий Борисыч! хоть бы вы водочкой танцоров-то попотчевали! ведь это просто смерть-с! Этакого труда и каторжники не претерпевают!

– И ни-ни! – отвечает Дмитрий Борисыч, махая руками, – что ты! что ты! ты, пожалуй, опять по-намединшнему налижешься! Вот уедет его высокородие – тогда хоть графин выпей... Эй, музыканты!

Музыка трогается, но танцоров урезонить не легко. Они становятся посреди залы в каре, устраивают между собой совет и решают не танцевать, покуда не будет выполнено справедливое требование протолиста.

---

<sup>8</sup> Ваше превосходительство! (франц.)

<sup>9</sup> А... вы говорите по-французски? (франц.)

<sup>10</sup> Я надеюсь, что вы окажете мне честь... (франц.)

– Что ж это за страм такой! хоть бы прохладительное какое-нибудь подали! – говорит протоколист.

– Не танцуй, братцы, да и баста! – подсказывает муж совета Петька Трясучкин.

– Не хотим танцевать! – раздается общий отголосок.

Происходит смятение. Городничиха поспешает сообщить своему мужу, что приказные бунтуются, требуют водки, а водки, дескать, дать невозможно, потому что пот еще намеднись, у исправника, столоначальник Подгоняйчиков до того натенькался, что даже вообразил, что домой спать пришел, и стал при всех раздеваться.

Дмитрий Борисыч выбегает увещевать.

– Бога вы не боитесь, свиньи вы этикие! – говорит он, – знаете сами, какая у нас теперича особа! Нешто жалко мне водки-то, пойми ты это!.. Эй, музыканты!

– Да нет; танцевать совсем невозможно... нам что водка-с! а совсем нам танцевать невозможно-с!

– Да почему же невозможно?

– Да так-с... очень уж труд велик-с...

– Господи! Иван Перфильич! и ты-то! голубчик! ну, ты умница! Прохладись же ты хоть раз, как следует образованному человеку! Ну, жарко тебе – выпей воды, иль выдь, что ли, на улицу... а то водки! Я ведь не стою за нее, Иван Перфильич! Мне что водка! Христос с ней! Я вам всем завтра утром по два стаканчика поднесу... ей-богу! да хоть теперь-то ты воздержись... а! ну, была не была! Эй, музыканты!

На этот раз убеждения подействовали, и кадрили кой-как составила. Из-за дверей коридора, примыкавшего к зале, выглядывали лица горничных и других зрителей лакейского звания, впереди которых, в самой уже зале, стоял камердинер его высокородия. Он держал себя, как и следует камердинеру знатной особы, весьма серьезно, с прочими лакеями не связывался и, заложив руки назад, производил глубокомысленные наблюдения над танцующим уездом.

– Ну, а что, Федя, ведь и мы веселиться умеем? – спрашивал Дмитрий Борисыч, изредка забегая к нему.

– Веселиться – отчего не веселиться! – отвечал Федор.

– Ну, а как, Федя, против ваших-то балов: наш, поди, никуда, чан, не годится?

– Да, против наших... разумеется... а впрочем, мне ваш больше нравится... проще!

– Ты, Федя, добрый! Приходи уж, я тебе полтинничек пожертвую... а чай пил?

– Пил-с, благодарим покорно.

– Ты, братец, требуй... знаешь, без церемоний... распорядись сам, коли чего захочется... леденчиков там, икорки, балычку... тебе, братец, отказу не будет...

В начале пятой фигуры в гостиной послышался шум, вскоре затем сменившийся шушуканьем. В дверях залы показался сам его высокородие. Приближался страшный момент, момент, в который следовало делать соло пятой фигуры. Протоколист, завидев его высокородие, решительно отказался выступать вперед и хотел оставить на жертву свою даму. Произошло нечто вроде борьбы, причинившей между танцующими замешательство. Дмитрий Борисыч бросился в самый пыл сражения.

– Ну, полно же, братец, иди! – увещевал он заартачившегося протоколита, – ведь его высокородие смотрит...

Но протоколист ни с места: и не говорит ни слова, и вперед не идет, словно ноги у него приросли к полу.

– Обробел, ваше высокородие! – восклицает Желваков, перебегая к Алексею Дмитричу, – они у нас непривычны-с... всего пугаются.

– Отчего же? – говорит Алексей Дмитрич, – я, кажется, не страшен! Нехорошо, молодой человек! Я люблю, чтоб у меня веселились... да!

И удаляется в обитель, чтоб не мешать общему веселью.

– А у меня сегодня был случай! – говорит Алексей Дмитрич, обращаясь к Михаиле Трофимычу, который, как образованный человек, следит шаг за шагом за его высокородием, – приходит ко мне Маремьянкин и докладывает, что в уезде отыскано туловище... и как странно! просто одно туловище, без головы! *Imaginez-vous cela!*<sup>11</sup>

– Сс! – произносит Дмитрий Борисыч, покачивая головой.

– Но вот что в особенности меня поразило, – продолжает его высокородие, – это то, что эту голову нигде не могут найти! даже Маремьянкин! *Vous savez, c'est un coquin pour ces choses-là!*<sup>12</sup>

– Сс! – произносит опять Желваков.

– Но я, однако, принял свои меры! Я сказал Маремьянкину, что знать ничего не хочу, чтоб была отыскана голова! Это меня очень-очень огорчило! *Ça ma bouleversé!*<sup>13</sup> Я, знаете, тружусь, забочусь... и вдруг такая неприятность! Головы найти не могут! Да ведь где же нибудь она спрятана, эта голова! Признаюсь, я начинаю колебаться в мнении о Маремьянкине; я думал, что он усердный, – и что ж!

Бьет одиннадцать часов; его высокородие берется за шляпу. Дмитрий Борисыч в отчаянье.

– Ваше высокородие! осчастливьте! не откажите перекусить! – умоляет он, в порыве преданности почти осмеливаясь прикоснуться к руке его высокородия.

Алексей Дмитрич видимо тронут. Но вместе с тем воля его непреклонна. «У него болит голова», «он так много сегодня работал», «завтра ему надо рано выехать», и притом «этот Маремьянкин с своею головой»...

– Спасибо, господин Желваков, спасибо! – говорит его высокородие, – это ты хорошо делаешь, что стараешься соединить общество! Я буду иметь это в виду, господин Желваков!

И удаляется медленным шагом из обители.

Подсадивши как следует его высокородие в экипаж, Дмитрий Борисыч возвращается в зал и долго-долго жмет обе руки Михаиле Трофимычу.

– Благодарю! – говорит он, растроганный до слез, – благодарю! если б не вы. Эй, водки! – восклицает он совершенно неожиданно.

Ночь. В доме купчихи Облепихиной замечается лишь тусклое освещение. Алексей Дмитрич уж раздет, и Федор снимает с него сапоги.

– Ну, а помнишь ли, Федор, как мы в Петербурге-то бедствовали? – спрашивал Алексей Дмитрич.

– Как не помнить? такое дело разве позабыть можно? – отвечает Федор угрюмо.

– Помнишь ли, как мы в Мещанской, в четвертом-то этаже, горе мыкали?

Федор трясет головой.

– У кухмистра за шесть гривен обед бирали, и оба сыты бывали? – продолжает Алексей Дмитрич, – а ждал ли ты, гадал ли ты в то время, чтоб вот, например, как теперича... стоит перед тобой городничий – слушаю-с; исправник к тебе входит – слушаю-с; судья рапортует – слушаю-с... Так вот, брат, мы каковы!

– Это точно, что во сне не гадал.

– То-то же!

– Хорошо-то оно хорошо, – говорит Федор, – да одно вот, сударь, не ладно.

– А что такое?

– Да вот Кшецу-то эту (Кшецынского) выгнать бы со двора следовало.

---

<sup>11</sup> Вообразите себе! (франц.)

<sup>12</sup> Вы знаете, он ведь мастак в этих делах! (франц.)

<sup>13</sup> Это меня потрясло! (франц.)

- Опять ты... тово...
- Да нечего «тово», а продаст он вас, сударь.
- Что ты вздор-то городишь! только смущаешь, дурак!
- Мне зачем смущать! я не смущаю! Я вот только знаю, что Кшеца эта шестьсот шестьдесят шесть означает... ну, и продаст он вас...



## МОИ ЗНАКОМЦЫ

### ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК

Дело было весною, а в тот год весна была ранняя. Уже в начале марта полились с гор ручьи и прилетели грачи, чего и старожилы в Крутогорской губернии не запомнят. Время это самое веселое; вид возрождающейся природы благотворно действует на самого сонливого человека; все принимает какой-то необычный, праздничный оттенок, все одевается радужными цветами. В деревнях на улице появляется грязь; ребятишки гурьбами возятся по дороге и везде, где под влиянием лучей солнца образовалась вода; старики также выползают из душных изб и садятся на завалинах погреться на солнышке. Вообще, все довольны, все рады весне и теплу, потому что в зимнее время изба, наполненная какою-то прогорклою атмосферой, наводит уныние даже на привыкшего к ней мужичка.

Однако путешествовать в это время, и особенно по экстренной надобности, – сущее наказание. Дорога уже испортилась; черная, исковерканная полоса ее безобразным горбом выступает из осевшего по сторонам снега; лошади беспрестанно престапуются, и потому вы волею-неволею должны ехать шагом; сверх того, местами попадаются так называемые зажоры, которые могут заставить вас простоять на месте часов шесть и более, покуда собьют окольный народ, и с помощью его ваша кибитка будет перевезена или, правильнее, перенесена на руках по ту сторону колодца, образовавшегося посреди дороги. Это штука самая скверная; тут припомнишь всех, кого следует, и всех мысленно по-родственному обласкаешь. Не радуют сердца ни красоты природы, ни шум со всех сторон стремящихся водных потоков; напротив того, в душе поселяется какое-то тупое озлобление против всего этого: так бы, кажется, взял да и уехал, а уехать-то именно и нельзя.

Ночью в такую пору ехать решительно невозможно; поэтому и бывает, что отъедешь в сутки верст с сорок, да и славословишь остальное время имя господне на станции.

Подобную муку пришлось испытать и мне. Промаявшись, покуда было светло, в бесплодной борьбе со стихиями, я приехал наконец на станцию, на которой предстояло мне ночевать. В подобных обстоятельствах станционный домик, одиноко стоящий немного поодаль дороги, за деревьями, составляет истинную благодать. Уехал, кажется, всего верст сорок или пятьдесят, а истомеешь, отупеешь и раскиснешь так, как будто собственными своими благородными ногами пробежал верст полтора. Разумеется, первое дело самовар, и затем уже является на стол посильная, зачерстневшая от времени закуска, и прилаживается складная железная кровать, без которой в Крутогорской губернии путешествовать так же невозможно, как невозможно быть станционному дому без клопов и тараканов.

На этот раз на станции оказался какой-то проезжий, что меня и изумило и огорчило. Огорчило потому, что мы, коренные крутогорцы, до такой степени привыкли к нашему безмятежному захолустью, что появление проезжего кажется нам оскорблением и посягательством на наше спокойствие. Кроме того, есть еще тайная причина, объясняющая наше нерасположение к проезжему народу, но эту причину я могу сообщить вам только под величайшим секретом: имеются за нами кой-какие провинности, и потому мы до смерти не любим ревизоров и всякого рода любопытных людей, которые любят совать свой нос в наше маленькое хозяйство. Мы рассуждаем в этом случае так: губерния Крутогорская хоть куда; мы тоже люди хорошие и, к тому же, приладились к губернии так, что она нам словно жена; и климат, и все, то есть и то и другое, так хорошо и прекрасно, и так все это славно, что вчуже даже мило смотреть на нас, а нам-то, пожалуй, и умирать не надо! Охота же какому-нибудь – прости господи! – кобелю борзому нарушать это трогательное согласие!

Проезжий оказывался нрава меланхолического. Он то и дело ходил по комнате, напевая известный романс «Уймись, волнения страсти» [10]. Но страсти, должно полагать, не унимались, потому что когда дело доходило до «я пла-а-чу, я стрра-а-жду!», то в голосе его происходила какая-то удивительнейшая штука: словно и ветер воет, и в то же время сапоги скрипят до истомы. Этой штуки мне никогда впоследствии не приходилось испытывать; но помню, что в то время она навела на меня уныние. Замечательно было также то обстоятельство, что слова «плачу» и «стражду» безотменно сопровождались возгласом: «Эй, Прошка, водки!», а как проезжий пел беспрестанно, то и водки, уповательно, вышло немалое количество.

Однако ж я должен сознаться, что этот возглас пролил успокоительный бальзам на мое крутогорское сердце; я тотчас же смекнул, что это нашего поля ягода. Если и вам, милейший мой читатель, придется быть в таких же обстоятельствах, то знайте, что пьет человек водку, – значит, не ревизор, а хороший человек. По той причине, что ревизор, как человек злущий, в самом себе порох и водку содержит.

– Милостивый государь! милостивый государь... мой! – раздалось за перегородкой.

Воззвание, очевидно, относилось ко мне.

– Что прикажете?

– Не соблаговолите ли допустить побеседовать? тоска смертнейшая-с!

– С величайшим удовольствием.

Вслед за сим в мою комнату ввалилась фигура высокого роста, в дубленном овчинном полушубке и с огромными седыми усами, опущенными вниз. Фигура говорила очень громким и выразительным басом, сопровождая свои речения приличными жестами. Знаков опьянения не замечалось ни малейших.

– Рекомендуюсь! рекомендуюсь! «Блудный сын, или Русские в 18\*\* году»...

– Очень рад познакомиться.

– Да-с; это так, это точно, что блудный сын – черт побери! Жизнь моя, так сказать, рраман и рраман не простой, а этак Рафаила Михайлыча Зотова [11], с танцами и превращениями и великолепным фейерверком – на том стоим-с! А с кем я имею удовольствие беседовать?

Я назвал себя.

– Так-с; ну, а я отставной подпоручик Живновский... да-с! служил в полку – бросил; жил в имении – пропил! Скитаюсь теперь по бурному океану жизни, как челн утлый, *без кормила, без весла...*

Я стра-ажду, я пла-ачу!

Заспанный Прошка стремительно, как угорелый, вбежал с полштофом водки и стаканом в руках и спросонья полез прямо в окно.

– Куда? ну, куда лезешь? – завопил Живновский, – эго рыло! мало ты спишь! очумел, скатина, от сна! Рекомендую! – продолжал он, обращаясь ко мне. – Раб и наперсник! единственный обломок древней роскоши! хорош?

Прошка глядел на нас во все глаза и между тем, очевидно, продолжал спать.

– Хорош? рожа-то, рожа-то! да вы взгляните, полюбуйтесь! хорош? А знаете ли, впрочем, что? ведь я его выдрессировал – истинно вам говорю, выдрессировал! Теперь он у меня все эти, знаете, поговорки и всякую команду – все понимает; стихи даже французские декламирует. А ну, Проша, потешь-ка господина!

Прошка забормотал что-то себе под нос скороговоркой. Я мог разобрать только припев: *се мистигрис ке же ле номме, се мистигрис, се мистигрис* [12].

– А! каков каналья! это ведь, батюшка, Беранже! Два месяца, сударь, с ним бился, учил – вот и плоды! А приятный это стихотворец Беранже! Из русских, я вам доложу, подобного ему нет! И все, знаете, насчет этих деликатных обстоятельств... бестия!

Живновский залпом выпил стакан водки.

– Ну, теперь марш! можешь спать! да смотри, у меня не зевать – понимаешь?

Прошка вышел. Живновский вынул из кармана засаленный бумажник, положил его на стол и выразительно хлопнул по нем рукой.

– Извольте видеть? – сказал он мне.

– Вижу.

– Ну-с, так вот здесь все мои капиталы!.. То есть, кроме тех, которые хранятся вот в этом ломбарде!

Он указал на голову.

– Немного-с! всего-то тут на все пятьдесят целкачей... и это на всю, сударь, жизнь!

Он остановился в раздумье.

– Дда-с; это на всю жизнь! – сказал он торжественно и с расстановкой, почти налезая на меня, – это, что называется, на всю жизнь! то есть, тут и буар, и манже, и сортир!.. дда-с; не красна изба углами, а впрочем, и пирогов тут не много найдется... хитро-с!

Он начал шагать по комнате.

– А уж чего, кажется, я не делал! Телом торговал-с! собственным своим телом – вот как видите... Не вывезла! не вывезла шельма-кривая!

Молчание.

– Вот-с хоть бы насчет браку! чем не молодец – во всех статьях! однако нет!.. Была вдова Поползновеякина, да и та спятила: «Ишь, говорит, какие у тебя ручищи-то! так, пожалуй, усахаришь, что в могилу ляжешь!» Уж я каких ей резонов не представлял: «Это, говорю, сударыня, крепость супружескую обозначает!» – так куда тебе! Вот и выходит, что только задаром на нее здоровье тратил: дала вот тулупчишку да сто целковых на дорогу, и указала дверь! А харя-то какая, если б вы знали! точно вот у моего Прошки, словно антихрист на ней с сотворения мира престол имел!

Живновский плюнул.

– А не то вот Топорков корнет: «Слышал, говорит, Сеня, англичане миллион тому дают, кто целый год одним сахаром питаться будет?» Что ж, думаю, ведь канальская будет штука миллиончик получить! Ведь это выходит не много не мало, а так себе взял да на пряники миллиончик и получил! А мне в ту пору смерть приходилась неминуемая – всё просвистал! И кроме того, знаете, это у меня уж идея такая – разбогатеть. Ну-с, и полетел я сдуру в Петербург. Приехал; являюсь к посланнику: «Так и так, говорю, вызывались желающие, а у меня, мол, ваше превосходительство, желудок настоящий, русский-с»... Что ж бы вы думали? перевели ему это – как загогочет бусурманишка! даже обидно мне стало; так, знаете, там все эти патриотические чувства вдруг и закипели.

– Да, это действительно обидно.

– Но, однако ж, воротясь, задал-таки я Сашке трезвону: уповательно полагать должно, помнит и теперь... Впрочем, и то сказать, я с малолетства такой уж прожектёр был. Голова, батюшка, горячая; с головой сладить не могу! Это вот как в критиках пишут, сердце с рассудком в разладе – ну, как засядет оно туда, никакими силами оттуда и не вытащишь: на стену лезть готов!

– А теперь что же вы располагаете делать?

– Теперь? ну, теперь-то мы свои делишки поправим! В Крутогорск, батюшка, едем, в Крутогорск! в страну, с позволения сказать, антропофагов, страну дикую, лесную! Нога, сударь, человеческая там никогда не бывала, дикие звери по улицам ходят! Вот-с мы с вами в какую сторонушку запропастились!

Живновский в увлечении, вероятно, позабыл, что перед ним сидит один из смиренных обитателей Крутогорска. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате, потирая руки,

и физиономия его выражала нечто плотоядное, как будто в самом деле он готов был живьем пожрать крутогорскую страну.

– Спасибо Сашке Топоркову! спасибо! – говорил он, очевидно забывая, что тот же Топорков обольстил его насчет сахара. – «Ступай, говорит, в Крутогорск, там, братец, есть винцо tenerиф – это, брат, винцо!» Ну, я, знаете, человек военный, долго не думаю: кушак да шапку или, как сказал мудрец, *omnia te cum te*...<sup>14</sup> зарапортовался! ну, да все равно! слава богу, теперь уж недалечко и до места.

– Однако ж я все-таки не могу сообразить, на что же вы рассчитываете?

– На что? – спросил он меня с некоторым изумлением, вдруг остановясь передо мной, – как на что? Да вы, батюшка, не знаете, что такое Крутогорск! Крутогорск – это, я вам доложу, сторона! Там, знаете, купец – борода безобразнейшая, кафтанишка на нем весь оборванный, сам нищим смотрит – нет, миллионщик, сударь вы мой, в сапоге миллионы носит! Ну, а нам этих негоциантов, что в кургузых там пиджаках щеголяют да tenerифцем отделяваются, даром не надобно! Это не по нашей части! Нам подавай этак бороду, такую, знаете, бороду, что как давнул ее, так бы старинные эти крестовики да лобанчики [13] из нее и посыпались – вот нам чего надобно!.. А знаете, не хватить ли нам желудочного?

Я пла-ачу, я стра-ажду!

Но Прошка не являлся. Живновский повторил свой припев уже с ожесточением. Прошка явился.

– Что ж ты, шутить, что ли, собачий сын, со мной вздумал? – возопил Живновский, – службу свою забыл! Так я тебе ее припомню, ска-атина!

Он распростер свою длань и совершенно закрыл ею лицо ополоумевшего раба.

– Дратся я, доложу вам, не люблю: это дело ненадежное! а вот память, скомкать этак мордасы – уж это наше почтение, на том стоим-с. У нас, сударь, в околотке помещица жила, девица и бездетная, так она истинная была на эти вещи затейница. И тоже бить не била, а проштрафится у ней девка, она и пошлет ее по деревням милостыню собирать; соберет она там куски какие – в застольную: и дворовые сыты, и девка наказана. Вот это, сударь, управление! это я называю управлением.

Он выпил.

– Знаете ли, однако ж, – сказал он, – напиток-то ведь начинает забирать меня – как вы думаете?

Я согласился.

– Стара стала, слаба стала! Шли мы, я помню, в восемьсот четырнадцатом, походом – в месяц по четыре ведра на брата выходило! Ну-с, четырежды восемь тридцать два – кажется, лопнуть можно! – так нет же, все в своем виде! такая уж компания веселая собралась: всё ребята были теплые!

На станционных часах пробило десять. Я зевнул.

– Да вы постойте, не зевайте! Я вам расскажу, был со мной случай. Был у меня брат, такой брат, что днем с огнем не сыщешь – душа! Служил он, сударь, в одном полку с неким Перетыкиным – так, жалконький был офицеришка. Вот только и поклялись они промеж себя, в счастье ли, в несчастье ли, вывозить друг друга. Брат вышел в отставку, а Перетычка эта полезла в гору, перешла, батюшка, к штатским делам и дослужилась там до чинов генеральских. В двадцатых годах, как теперь помню, пробубнился я жесточайшим манером – штабс-капитан Терпишка в пух обыграл! – натурально, к брату. Вот и припомнил он, что есть у него друг и приятель Перетыкин: «Он, говорит, тебя пристроит!» Пишет он к нему письмо, к Перетычке-то:

---

<sup>14</sup> Все свое ношу с собою (от искаженного лат. *omnia mea mecum porto*).

«Помнишь ли, дескать, друг любезный, как мы с тобой напролет ночи у метресс прокучивали, как ты, как я... помоги брату!» Являюсь я в Петербург с письмом этим прямо к Перетькину. Принял он меня, во-первых, самым, то есть, безобразнейшим образом: ни сам не садится, ни мне не предлагает. Прочитал письмо. «А кто это, говорит, этот господин Живновский?» – и так, знаете, это равнодушно, и губы у него такие тонкие – ну, бестия, одно слово – бестия!.. «Это, говорю, ваше превосходительство, мой брат, а ваш старинный друг и приятель!» – «А, да, говорит, теперь припоминаю! увлечения молодости!..» Ну, доложу вам, я не вытерпел! «А вы, говорю, ваше превосходительство, верно и в ту пору канальей изволили быть!..» Так и ляпнул. Что ж бы вы думали? Он же на меня в претензии: зачем, дескать, обозвал его!

Молчание.

– И вот все-то я так маюсь по белу свету. Куда ни сунусь, везде какая-нибудь пакость... Ну, да, слава боту, теперь, кажется, дело на лад пойдет, теперь я покоен... Да вы-то сами уж не из Крутогорска ли?

– Да.

– Так-с; благодатная это сторона! Чай, пишите, бумагу переводите! Ну, и здесь, – прибавил он, хлопая себе по карману, – полагательно, толстущечка-голубушка водится!

– Ну, разумеется.

– Так-с, без этого нельзя-с. Вот и я тоже туда еду; бородушек этих, знаете, всех к рукам приберем! Руки у меня, как изволите видеть, цепкие, а и в писании сказано: овцы без пастыря – толку не будет. А я вам истинно доложу, что тем эти бороды мне любезны, что с ними можно просто, без церемоний... Позвал он тебя, например, на обед: ну, надоела борода – и вон ступай.

– По крайней мере, имеете ли вы к кому-нибудь рекомендацию в Крутогорск?

– Ре-ко-мен-да-цшо! А зачем, смею вас спросить, мне рекомендация? Какая рекомендация? Моя рекомендация вот где! – закричал он, ударя себя по лбу. – Да, здесь она, в житейской моей опытности! Приеду в Крутогорск, явлюсь к начальству, объясню, что мне нужно... ну-с, и дело в шляпе... А то еще рекомендация!.. Эй, водки и спать! – прибавил он совершенно неожиданно.

И он побрел, пошатываясь, восвояси.

На другой день, когда я проснулся, его уже не было; станционный писарь сообщил мне, что он уехал еще затемно и все спешил: «Мне, говорит, пора; пора, брат, и делишки свои поправить». Показывал также ему свой бумажник и говорил, что «тут, брат, на всю жизнь; с этим, дружище, широко не разгуляешься!..»

Прошло месяца два; я воротился из командировки и совсем забыл о Живновском, как вдруг встретил его, в одно прекрасное утро, на улице.

– Ба! ну, как дела?

Подпоручик смотрел не весело; на нем висела шинель довольно подозрительного свойства, а сапоги были, очевидно, не чищены с самого приезда в Крутогорск.

– Надул Сашка! – проворчал он угрюмо.

– Чем же вы живете?

– А вот лотереи разыгрываем... намеднись Прошку на своз продал, и верите ли, бестия даже обрадовался, как я ему объявил.

– Ну, а являлись ли вы, как предполагали?

Он махнул рукой и пошел дальше.

Однако ж я мог расслышать, как он ворчал: «Ну, задам же я тебе звону, бестия Сашка! дай только выбраться мне отсюда».

И тем не менее вы и до сих пор, благосклонный читатель, можете встретить его, прогуливающегося по улицам города Крутогорска и в особенности принимающего деятельное участие во всех пожарах и других общественных бедствиях. Сказывают даже, что он успел приобрести

значительный круг знакомства, для которого неистощимым источником наслаждений служат рассказы о претерпенных им бедствиях и крушениях во время продолжительного плавания по бурному морю житейскому.

## ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ

*Человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.*

Если вы не знакомы с Порфирием Петровичем, то советую как можно скорее исправить эту опрометчивость. Его уважает весь город, он уже двадцать лет старшиною благородного собрания, и его превосходительство ни с кем не садится играть в вист с таким удовольствием, как с Порфирием Петровичем.

Не высок он ростом, а между тем всякое телодвижение его брызжет нестерпимым величием. Баталионный командир, охотно отдающий справедливость всему великому, в заключение своих восторженных панегириков об нем всегда прибавляет: «Как жаль, что Порфирий Петрович ростом не вышел: отличный был бы губернатор!» Нельзя сказать также, чтоб и во всей позе Порфирия Петровича было много грации; напротив того, весь он как-то кряжем сложен; но зато сколько спокойствия в этой позе! сколько достоинства в этом взоре, померкающем от избытка величия!

Когда он протягивает вам руку, вы ощущаете, что в вашей руке заключено нечто неуловимое; это не просто рука, а какое-то блаженство или, лучше сказать, благоухание, принявшее форму руки. И не то чтобы он подал вам какие-нибудь два пальца или же сунул руку наизнанку, как делают некоторые, – нет, он подает вам всю руку, как следует, ладонь на ладонь, но вы ни на минуту не усумнитесь, что перед вами человек, который имел бы полное право подать вам один свой мизинец. И вы чувствуете, что уважение ваше к Порфирию Петровичу возрастает до остервенения.

В суждениях своих, в особенности о лицах, Порфирий Петрович уклончив; если иногда и скажет он вам «да», то вы несомненно чувствуете, что здесь слышится нечто похожее на «нет», но такое крошечное «нет», что оно придает даже речи что-то приятное, расслабляющее. Он не прочь иногда пошутить и сострить, но эта шутка никого не компрометирует; напротив того, она доказывает только, что Порфирий Петрович вполне благонамеренный человек: и мог бы напакостить, но не хочет пользоваться своим преимуществом. Он никого, например, не назовет болваном или старым колпаком, как делают некоторые обитатели пустынь, не понимающие обращения; если хотите, он выразит ту же самую мысль, но так деликатно, что вместо «болвана» вы удобно можете разуметь «умница», и вместо «старого колпака» – «почтенного старца, украшенного сединами».

Когда говорят о взятках и злоупотреблениях, Порфирий Петрович не то чтобы заступается за них, а только переминается с ноги на ногу. И не оттого, чтоб он всею душой не ненавидел взяточников, а просто от сознания, что вообще род человеческий подвержен слабостям.

Порфирий Петрович не поет и не играет ни на каком инструменте. Однако все чиновники и все знакомые его убеждены, что он мог бы и петь и играть, если б только захотел. Он охотно занимается литературой, больше по части повествовательной, но и тут отдает преимущество повестям и романам, одолженным своим появлением дамскому перу, потому что в них нет ничего «этакого». «Дама, – говорит он при этом, – уж то преимущество перед мужчиной имеет, что она, можно сказать, розан и, следовательно, ничего, кроме запахов, издавать не может».

Говорят, будто у Порфирия Петровича есть деньги, но это только предположение, потому что он ими никого никогда не ссужал. Однако, как умный человек, он металла не презирает, и в душе отдает большое предпочтение тому, кто имеет, перед тем, кто не имеет. Тем не менее это предпочтение не выражается у него как-нибудь нахально, и разве некоторая томность во взгляде изобличит внутреннюю тревогу души его.

Очень великолепен Порфирий Петрович в мундире, в те дни, когда у губернатора бывает прием, и после того в соборе. Тут самый рост его как-то не останавливает ничего внимания, и всякий благонамеренный человек необходимо должен думать, что такой, именно такой рост следует иметь для того, чтоб быть величественным. Одно обстоятельство сильно угрызает его – это отсутствие белых брюк [14]. Не ездил ли он верхом на Константине Владимырыче, не оседлал ли, не взнуздal ли он его до такой степени, что несчастный старец головой пошевелить не может? и между тем! – о несправедливость судеб! – Константин Владимырыч носит белые брюки, и притом так носит, как будто они у него пестрые, а он, Порфирий Петрович, вечно осужден на черный цвет.

Не менее величествен Порфирий Петрович и на губернских балах, в те минуты, когда все собравшиеся не осмеливаются приступить ни к каким действиям в ожидании его превосходительства. Он ласково беседует со всеми, не роняя, однако же, своего достоинства и стараясь прильнуть к губернским тузам. Когда входит его превосходительство, глаза Порфирия Петровича выражают тоску и как будто голод; и до той поры он, изнемогая от жажды, чувствует себя в степи Сагаре, покуда его превосходительство не приблизится к нему и не пожмет его руки. После этого акта Порфирий Петрович притопывает ножкой и, делая грациозный поворот на каблуках, устремляется всею сущностью к карточному столу, для составления его превосходительству приличной партии. За карточным столом Порфирий Петрович не столько великолепен, сколько мил; в целой губернии нет такого приятного игрока: он не сердится, когда проигрывает, не глядит вам алчно в глаза, как бы желая выворотить все внутренности вашего кармана, не подсмеивается над вами, когда вы проигрываете, однако ж и не сидит как истукан. Напротив того, он охотно позволит себе, выходя с карты, выразиться: «Не с чего, так с бубен», или же, в затруднительных случаях, крикнуть и сказать: «Тэ-э-кс». Вообще, он старается руководить своего партнера более взорами и телодвижениями; если же партнер так туп (и это бывает), что разговора этого не понимает, то оставляет его на произвол судеб, употребив, однако ж, наперед все меры к вразумлению несчастного.

Вообще, Порфирий Петрович составляет ресурс в городе, и к кому бы вы ни обратились с вопросом о нем, отвсюду наверное услышите один и тот же отзыв: «Какой приятный человек Порфирий Петрович!», «Какой милый человек Порфирий Петрович!» Что отзывы эти нелепемы – это свидетельствуется не только тоном голоса, но и всею позою говорящего. Вы слышите, что у говорящего в это время как будто порвалось что-то в груди от преданности к Порфирию Петровичу.

Однако не вдруг и не без труда досталось ему это завидное положение. Он, как говорят его почтенные сограждане, произошел всю механику жизни и вышел с честью из всех потасовок, которыми судьбе угодно было награждать его.

Папа Порфирия Петровича был сельский пономарь; матан – пономарица. Несомненно, что герою нашему предстояла самая скромная будущность, если б не одно обстоятельство. Известно, что в древние времена по селам и весям нашего обширного отечества разъезжали благодетельные гении, которые замечали природные способности и необыкновенное остроумие мальчиков и затем, по влечению своих добрых сердец, усердно занимались устройством судеб их.

На этот раз благодетель обратил внимание не столько на острого мальчика, сколько на его маменьку. Маменька была женщина полная, грудь имела высокую и белую, лицо круглое, губы алые, глаза серые, навывате, и решительные. Полюбилась она старику благодетелю. Все ему мерещится то Уриева жена полногрудая, то купель силоамская; то будто плывет он к берегам ханаанским по морю житейскому, а житейское-то море такого чудно-молочного цвета, что гортань его сохнет от жажды нестерпимой. Наклонит он свою распаленную голову, чтобы испить от моря житейского, но – о чудо! – перед ним уж не море, а снежный сумет, да такой-то в нем



снег мягкий да пушистый, что только любо старику. А пономарица только смеется, а дальше не допускает: «Дай, говорит, ваше благородие, место мужу в губернском городе!»

А муж – пьяница необрезанный; утром, не успеет еще жена встать с постели, а он лежит уж на лавке да распевает канты разные, а сам горько-прегорько разливается-плачет. И не то чтоб стар был – всего лет не больше тридцати – и из себя недурен, и тенор такой сладкий имел, да вот поди ты с ним! рассудком уж больно некрепок был, не мог сносить сивушьяго запаха. Билась с ним долго жена, однако совладать не могла; ни просьбы, ни слезы – все нипочем: «Изыди, говорит, окаянная, в огонь вечный». Видит жена, что муж малодушествует, ее совсем обросил, только блудницей вавилонской обзывает, а сам на постели без дела валяется, а она бабенка молодая да полная, жить-то хочется, – ну, и пошла тоже развлекаться.

Стала она сначала ходить к управительше на горькую свою долю жаловаться, а управительшин-то сын молодой да такой милосердый, да добрый; живейшее, можно сказать, участие принял. Засидится ли она поздно вечером – проводить ее пойдет до дому; сено ли у пономаря все выдет – у отца сена выпросит, ржицы из господских анбаров отсыплет – и все это по сердолюбию; а управительша, как увидит пономарицу, все плачет, точно глаза у ней на мокром месте.

Вот идет однажды молодец поздно вечером, пономарицу провожает, а место, которым привелось проходить, глухое.

– Страшно мне чтой-то, Евсигней Федотыч, – говорит пономарица, – идите-ка поближе ко мне.

Он подошел и руку ей подал, да уж и сам не знает как, только обнял ее, а она и слышит, что он весь словно в лихорадке трясется.

– Не могу, – говорит, – воля ваша, Прасковья Михайловна, не могу дальше идти.

Сели они на пенек, да и молчат; только слышит она, что Евсигнейка дышит уж что-то очень прерывисто, точно захлебывается. Вот она в слезы.

– Все-то, – говорит, – меня, сироту, покинули да оставили; вот и вам, Евсигней Федотыч, тоже, чай, бросить меня желательно.

А он все молчит да вздыхает: глуп еще, молод был. Видит она, что малый-то уж больно прост, без поощренья ничего с ним не сделаешь.

– Чтой-то, – говорит, – мне будто холодно; ноженьки до смерти иззябли. Хошь бы вы, что ли, тулупчик с себя сняли да обогрели меня, Евсигней Федотыч.

Дело было весеннее: на полях травка только что показываться стала, и по ночам морозцем еще порядочно прихватывало. Снял он с себя мерлушчатый тулупчик, накинул ей на плеча, да как стал застегивать, руки-то и не отнимаются; а коленки пуще дрожат и подгибаются. А она так-то ласково на него поглядывает да по головке рукой гладит.

– Вот, – говорит, – кабы у меня муж такой красавчик да умница был, как вы, Евсигней Федотыч...

Пробыли они таким манером с полчаса и пошли домой уж повеселее. Не то чтоб «Евсигней Федотыч», или «Прасковья Михайловна», а «Евсигнеюшка, голубчик», «Параша, жись ты моя» – других слов и нет.

Долго ли, коротко ли, а стали на селе замечать, что управительский сын и лег и встал все у пономарицы. А она себе на уме, видит, что он уж больно голову терять начал, ну, и попридерживать его стала.

– Я, – говорит, – Евсигнеюшка, из-за тебя, смотри, какой грех на душу приняла!

Ну, и в слезы.

А иногда возьмет его руками за голову да к груди-то своей и притянет словно ребенка малого, возьмет гребень, да и начнет ему волосы расчесывать.

– А хочешь, – говорит, – дитятко, пряничка дам? Таким образом, она все больше лаской да словами привораживала его к себе.

Однако в доме у управителя стали пропадать то вещи, то деньги. Всю прислугу перепороли; не отыскивается вор, да и все тут. Однажды и в господской кассе недосчитались ста рублей, нечего делать, поморщился старик управитель, положил свои деньги. И невдомек никому, что у пономарицы завелись чаи да обнови разные. Вот однажды, в темную осеннюю ночь, слышат караульщики, что к господской конторе кто-то ползком-ползком пробирается; затаили они дыхание, да и ждут, что будет. Подполз вор к двери, встал, стал прислушиваться: видит, что все кругом тихо, перекрестился и отворил дверь легонько. Проходит прихожую мимо караульщиков, и в горницу, прямо к сундуку. Вынул ключ и отпер кассу. А караульщики видят, что дело-то уж кончено и вору не уйти, смеются да пугают его. Кто чихнет, кто кашляет, кто застонет, будто во сне; «Ах, батюшки, воры!» А вор-то так и оцепенеет весь. Таким образом они с четверть часа над ним тешились; попритихли опять. Вздыхнул вор и только что начал рыться в ящичке, как две дюжие руки и схватили его сзади. Подняли управителя, засветили огня; да как увидал старик вора, так и всплеснул руками.

– Так вот, – говорит, – кто вор-от!

Да и повалился.

А Евсигнейка словно остервенился.

– Ну, вор так вор! что ж, что вор!

Однако сын не сын управительский, а надели рабу божьему на ноги колодки, посадили в темную, да на другой день к допросу: «Куда деньги девал, что прежде воровал?» Как ни бились, – одних волос отец две головы вытаскал, – однако не признался: стоит как деревянный, слова не молвит. Только когда помянули Парашку – побледнел и затрясся весь, да и говорит отцу:

– Ты ее, батька, не замай, а не то и тебя пришибу, и деревню всю вашу выжгу, коли ей какое ни на есть беспокойствие от вас будет. Я один деньги украл, один и в ответе за это быть должен, а она тут ни при чем.

Недели через две свезли его в рекрутское присутствие, да и забрали лоб.

В этой-то горести застала Парашку благотельная особа. Видит баба, дело плохо, хоть ИЗ села вон беги: совсем проходу нет. Однако не потеряла, головы, и не то чтобы кинулась на шею благотелю, а выдержала характер. Смекнул старик, что тут силой не возьмешь – и впрямь перетащил мужа в губернский; город, из духовного звания выключил и поместил в какое-то присутственное место бумагу изводить.

Подрастает Порфирка и все около себя примечает. И в школу ходить начал, способности показал отменные; к старику благотелю все ластится, тяткой его называет, а на своего-то отца на пьяного уж и смотреть не хочет. Все даже думает, как бы ему напакоstitь: то сонному в рот табаку напихает, то сальной свечой всю рожу вымажет, а Парашка знай себе сидит да хохочет. Жили они не то чтобы бедно, а безалаберно. У Парашки шелковых платьев три короба, а рубашки порядочной нет; пойдет она на базар, на рубль пряников купит, а дома хлеба корки нет. Сиживал-таки Порфирка наш голодом не один день; хаживал больше все на босу ногу, зимой и летом, в одном изодранном тулупчишке.

Нашел он как-то на дороге гривенник – поднял и схоронил. В другой раз благотель гривенничком пожаловал – тоже схоронил. Полюбились ему деньги; дома об них только и разговору. Отец ли пьяный проспится – все хнычет, что денег нет; мать к благотелю пристаёт – все деньгами попрекает.

– Эка штука деньги! – думает Порфирка, – а у меня их всего два гривенника. Вот, мол, кабы этих гривенников хошь эко место, завел бы я лавочку, накупил бы пряников. Идут это мальчишки в школу, а я им: «Не побрезгуйте, честные господа, нашим добром!» Ну, известно, кой пряник десять копеек стоит, а ты за него шесть пятаков.

Стал он и поворовывать; отец жалованье получит – первым делом в кабак, целовальника с наступающим первым числом поздравить. Воротится домой пьянее вина, повалится на лавку,

да так и дрыхнет; а Порфирка между тем подкрадется, все карманы обшарит, да в чулан, в тряпочку и схоронит. Парашка потом к мужу пристаёт: куда деньги девал? а он только глазами хлопает. Известное дело – пьяный человек! что от него узнаешь? либо пропил, либо потерял.

По тринадцатому году отдали Порфирку в земский суд, не столько для письма, сколько на побегушки приказным за водкой в ближайший кабак слетать. В этом почти единственно состояли все его занятия, и, признаться сказать не красна была его жизнь в эту пору: кто за волосы оттреплет, кто в спину колотушек надаёт; да бьют-то всё с маху, не изловчась, в такое место, пожалуй, угодит, что дух вон. А жалованья за все эти тиранства получал он всего полтора рубля в треть бумажками.

При помощи услужливости и расторопности втерся он, однако ж, в доверие к исправнику, так что тот и на следствия брать его стал. Способности оказал он тут необыкновенные: спит, бывало, исправник, не тужит, а он и людей опросит, и благодарность соберет, и все, как следует, исправит. По двадцатому году сам исправник его Порфирием Петровичем звать начал, а приказные – не то чтоб шлепками кормить, а и посмотреть-то ему в глаза прямо не смеют. Земский суд в такой порядок привел, что сам губернатор на ревизии, как ни ковырял в книгах, никакой провинности заметить не мог; с тем и уехал.

Однажды сидит утром исправник дома, чай пьёт; по правую руку у него жена, на полу детки валяются; сидит исправник и блаженствует. Помышляет он о чине ассессорском, ловит мысленно таких воров и мошенников, которых пять предместников его да и сам он поймать не могли. Жмет ему губернатор руку со слезами на глазах за спасение губернии от такой заразы... А у разбойников рожи-то, рожи!..

– Как это вы, Демьян Иваныч, подступились к таким антихристам? – говорит ему дворянский заседатель, бледнея от ужаса.

– Дело мастера боится, – отвечает Демьян Иваныч, скромно потупляя глаза.

Но сон рассеивается; входит Порфирий Петрович.

– Милости просим, милости просим, Порфирий Петрович! – восклицает Демьян Иваныч, – а я, любезный друг, вот помечтал тут маленько, да, признаться, чуть не соснул. За надобностью, что ли, за какой?

– Да, за надобностью, – отвечает Порфирий Петрович как-то не совсем охотно.

– Что же такое?

– Да то, что служить мне у вас больше не приходится: жалованье маленькое, скоро вот первый чин получу. Ну, и место это совсем не по моим способностям.

– Жаль с тобою расстаться, Порфирий Петрович, жаль, право, жаль. Без тебя, пожалуй, не много тут дела сделаешь. Ну, да коли уж чувствуешь этакое призвание, так я тебе не злодей.

– Жаль-то оно, точно что жаль-с, Демьян Иваныч, и мне вас жалко-с, да не в этом деле-с...

– Что ж тебе надо?

– Да не будет ли вашей милости мне тысячки две-с, не в одолжение, а так, дарственно, за труды-с.

– А за какие бы это провинности, не позволите ли полюбопытствовать?

– Разные документы у нас в руках имеются... Демьян Иваныч и рот разинул.

– Документы! какие документы! – кричит, – что ты там городишь, разбойник этакой, кляuzu, чай, какую-нибудь соорудил!

– Разные есть документы-с, всё вашей руки-с. Доверием вы меня, Демьян Иваныч, облекали – известно, не драть же мне ваших записок-с, не деликатно-с: начальники! Извольте поминуть, в ту пору купец работника невзначай зашиб, вы мне еще записку писали, чтоб с купца-то донять по обещанию... Верьте богу, Демьян Иваныч, а таких документиков дешевле двух тысяч никто не отдаст! Задаром-с, совсем задаром, можно сказать, из уважения к вам, что как

вы мои начальники были, ласкали меня – ну, и у нас тоже не бесчувственность, а чувство в сердце обитает-с.

Исправника чуть паралич не пришиб; упал на диван да так и не встает; однако отлили водой – очнулся.

– Сподобил, – говорит, – меня бог этакую змею выкормить, за грехи мои.

– Оно конечно-с, Демьян Иваныч, – отвечает Порфирий Петрович, – оно конечно, змея-с, да вы извольте милостиво рассудить – ведь и грехи-то ваши не малые. В те поры вон убийцу оправили, а то еще невинного под плети подвели, ну, и меня тоже, можно сказать, с чистою душой, во все эти дела запутали. Так вот коли этак-то посудишь, оно и не дорого две тысячи. Особливо, как на всё это документики, да свидетели-с. А я вам доложу, что мне две тысячи бесприменно, до зарезу нужно-с. Сами посудите: я в губернский город еду, место по способностям своим иметь желаю-с, нельзя же тут без рекомендации, надо у всякого сыскать-с.

Делать нечего, Демьян Иваныч

...дал ему злата и проклял его [15].

По приезде в губернский город Порфирий Петрович вел себя очень прилично, оделся чистенько, приискал себе квартиру и с помощью рекомендательных писем недолго оставался без места. Сам губернатор изволил припомнить необычайную, выходящую из порядка вещей опрятность, замеченную в земском суде при ревизии, и тотчас же предложил Порфирию Петровичу место секретаря в другом земском суде; но герой наш, к общему удивлению, отказался.

– Осмелюсь доложить вашему превосходительству, – отвечал он, слегка приседая, – осмелюсь доложить, что уж я сызмальства в этом прискорбии находился, формуляр свой, можно сказать, весь измарал-с. Чувства у меня, ваше превосходительство, совсем не такие-с, не то чтоб к пьянству или к безобразию, а больше отечеству пользу приносить желаю. Будьте милостивы, сподобьте принять в канцелярию вашего превосходительства. Его превосходительство взглянули благосклонно.

– Ну, – говорят, – уж если тово, так я, таперича, благородство...

И махнули рукой.

Зажил Порфирий Петрович в губернском городе, и все думает, как бы ему в начальниках сыскать. Обратил он поначалу на себя внимание ясным пониманием дела. Другой смотрит в дело и видит в нем фигу, а Порфирий Петрович сейчас заприметит самую настоящую «суть», – ну и развивает ее как следует. Вострепетали исправники, вздрогнули городничие, побледнели дворянские заседатели; только и слышится по губернии: «Ах ты, господи!» И не то чтоб поползновение какое-нибудь – сохрани бог! прослезится даже, бывало, как начнет говорить о бескорыстии. Вздумал было однажды какой-то исправник рыжичков своего селенья ему прислать – вознегодовал ужасно, и прямо к его превосходительству: «Так, мол, и так; за что такое поношение?» Рыжички разыграли в лотерею в пользу бедных, а исправника выгнали.

Однако все ему казалось, что он недовольно бойко идет по службе. Заприметил он, что жена его начальника не то чтоб балует, а так по сторонам поглядывает. Сам он считал себя к этому делу непригодным, вот и думает, нельзя ли ему как-нибудь полезным быть для Татьяны Сергеевны.

Татьяна Сергеевна была дама образованная, нервная; смолоду слыла красавицей; сначала, скуки ради, пошаливала, а потом уж и привычку такую взяла. Муж у нее был как есть зверь лесной, ревнив страх, а временем и поколотит. Взяло Порфирия Петровича сердоболье; начал ездить к Татьяне Сергеевне и все соболезнает.

– Все-то, – говорит, – у меня, Татьяна Сергеевна, сердце изныло, глядя на вас, какое вы с этим зверем тиранство претерпеваете. Ведь достанется же такое блаженство – поди кому! Кажется, ручку бы только... так бы и умер тут, право бы, умер!

А Татьяна Сергеевна слушает это да смеется, и не то чтоб губами только, а так всем нутром, словно детки, когда им легонько брюшко пощекотишь.

Смекнул Порфирий Петрович, что по нраву бабе такие речи, что она и им, пожалуй, не побрезгует, да не входило это в его расчеты.

– Откройтесь, – говорит, – мне, Татьяна Сергеевна; душу за вас готов положить.

А сам за руку ее берет, королевой называет и проливает слезы сердоболия.

Вот и открылась она ему: любила она учителя, и он ее тоже любил – это ей достоверно известно было. Только свиданья им неспособно иметь было: все муж следил; ну, и людишки с ним заодно; записочки тоже любила она нежные писать – и те с великим затруднением до предмета доходят. Просто угнетение. Вечно муж подозревает, оскорбляет сомнением, а она? «Посудите сами, Порфирий Петрович, заслужила ли я такую пытку? виновата ли я, что это сердце жаждет любви, что нельзя заставить его молчать? Ах, если б кто знал, как горько ошибаются люди!»

Порфирий Петрович охотно взял на себя управление кормилом этой утлой ладьи, устраивал свиданья, а писем переносил просто без счета.

Однако, хоть письма и были запечатываемы, а он умел-таки прочитывать их и даже не скрывал этого от Татьяны Сергеевны.

– Вы меня извините, Татьяна Сергеевна, – говорил он ей, – не от любопытства, больше от жажды просвещения-с, от желания усладить душу пером вашим – такое это для меня наслаждение видеть, как ваше сердечко глубоко все эти приятности чувствует... Ведь я по простоте, Татьяна Сергеевна, я ведь по-французскому не учился, а чувствовать, однако, могу-с...

Она-то с дураков ему смеется – даже и запечатывать письма совсем перестала, а он нет-нет да и спрячет записочку, которая полюбопытнее.

Сидит однажды зверь лесной (это мужа они так шутя прозвали) у себя в кабинете запершись, над бумагой свирепствует. Стучатся. Входит Порфирий Петрович, и прямо в ноги.

– Виноват, – говорит, – Семен Акимыч, не погубите! Я, то есть, единственно по сердоболию; вижу, что дама образованная убивается, а оне... вот и письма-с!.. Думал я, что оне одним это разговором, а теперь видел сам, своими глазами видел!..

Ощутил лесной зверь, что у него на лбу будто зубы прорезываются. Взял письма, прочитал – там всякие такие неудобные подробности изображаются. Глупая была баба! Мало ей того, чтоб грех сотворить, – нет, возьмет да на другой день все это опишет: «Помнишь ли, мол, миленький, как ты сел вот так, а я села вот этак, а потом ты взял меня за руку, а я, дескать, хотела ее отнять, ну, а ты»... и пошла, и пошла! да страницы четыре мелко-намелко испишет, и все не то чтоб дело какое-нибудь, а так, пустяки одни.

Известно, остервенился зверь, жену избил на чем свет стоит, учителя в палки поставил, а к Порфирию Петровичу с тех пор доверие неограниченное питать стал.

Таким-то образом он лет около трех все только обставлял себя, покуда не почувствовал, что атмосфера кругом легче сделалась. Везде умел сделаться необходимым, и хотя не был образцом прелестных манер красоты, но и не искал этого, постоянно имея в виду более прочное и существенное. Однако, увидевши себя на торной дороге, он нашел, что было бы и глупо и не расчет не воспользоваться таким положением. Тут начался длинный ряд подвигов, летопись которых была бы весьма интересна, если б не имела печального сходства с тою, которую я имел честь рассказать вам, читатель, в одном из прежних моих очерков.<sup>15</sup> Результат оказался таков, что лет через десять Порфирия Петровича считали уж в двухстах тысячах.

Провинция странная вещь, господа! и вы, которые никогда не выставляли из Петербурга своего носа, никогда ни о чем не помышляли, кроме паев в золотых приисках и акций в промышленных предприятиях, не ропщите на это!

---

<sup>15</sup> См. «Прошлые времена». (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

По мере большего плутовства, Порфирий Петрович все большее и большее снискивал уважение от своих сослуживцев и сограждан. «Ну, что ж, что он берет! – говорили про него, – берет, да зато дело делает; за свой, следственно, труд берет».

Однажды пришла ему фантазия за один раз всю губернию ограбить – и что ж? Изъездил, не поленился, все закоулки, у исправников все карманы наизнанку выворотил, и, однако ж, не слышно было ропота, никто не жаловался. Напротив того, радовались, что первые времена суровости и лакедемонизма [16] прошли и что сердце ему отпустило. Уж коли этакой человек возьмет, значит, он и защищать сумеет. Выходит, что такому лицу деньги дать – все равно что в ломбард их положить; еще выгоднее, потому что проценты больше.

И за всем тем чтоб было с чиновниками у него фамильярство какое – упаси бог! Не то чтобы водочкой или там «братец» или «душка», а явись ты к нему в форме, да коли на обед звать хочешь, так зови толком: чтоб и уха из живых стерлядей была, и тосты по порядку, как следует.

Наконец настала и для него пора любви: ему было уже под сорок. Но и тут он остался верен себе; не влюбился сдуру в первую встречную юбку, не ходил, как иной трезор, под окнами своей возлюбленной. Нет, он женился с умом, взял девушку хоть бедную, но порядочную и даже образованную. Денег ему не нужно было – своих девать некуда – ему нужна была в доме хозяйка, чтоб и принять и занять гостя умела, одним словом, такая, которая соответствовала бы тому положению, которое он заранее мысленно для себя приготовил. Не боялся он также, что она выскользнет у него из рук; в том городе, где он жил и предполагал кончить свою карьеру, не только человека с живым словом встретить было невозможно, но даже в хорошей говядине ощущалась скудость великая; следовательно, увлечься или воспламениться было решительно нечем, да притом же на то и ум человеку дан, чтоб бразды правления не отпускать. И действительно, неизвестно, как жила его жена внутренне; известно только, что она никому не жаловалась и даже была весела, хоть при Порфирии Петровиче как будто робела.

Но, как хотите, взятки да взятки – а это и самого изощренного ума человеку надоеет наконец. Беспреданно изобретай, да не то чтоб награду за остроумие получить, а будь еще в страхе: пожалуй, и под суд попадешь. Времена же настают такие, когда за подобную остроту ума не то чтобы по головке гладить, а чаще того за вихор таскают. Чин у Порфирия Петровича был уж изрядный, женился он прилично; везде принят, обласкан и уважен; на последних выборах единогласно старшиной благородного собрания выбран; губернатор у него в доме бывает: скажите на милость, ну, след ли такой, можно сказать, особе по уши в грязи барахтаться! Стал он вздыхать и томиться тоской, даже похудел и пожелтел. В перспективе ему виднелось местечко! [17] Господи! инда задрожит Порфирий Петрович, как подумает об нем! местечко с доходами, «вот уж совершенно-то безгрешными!», местечко покойное, место злачно, прохладно, как говорится...

В провинции о казне существуют между чиновниками весьма странные понятия. Она представляется чем-то отвлеченным, символическим, невесомым: так, пар какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни обижай – все-таки ничем обидеть не можно; она все-таки сидит себе, не морщится и не жалуется никому. «Кому от этого вред! ну, скажите, кому? – восклицает остервенившийся идеолог-чиновник, который великим постом в жизнь никогда скоромного не едал, ни одной взятки не перекрестясь не бирал, а о любви к отечеству отродясь без слез не говаривал, – кому вред от того, что вино в казну не по сорока, а по сорока пяти копеек за ведро ставится!»

И начнет вам доказывать это так убедительно, что вы и руки расставите.

Излишне было бы подсказывать догадливому читателю, что Порфирий Петрович желаемое место получил.

С этой-то поры разлилась в душе его та мягкость, та невозмутимая ясность, которой мы удивляемся в наших губернских Цинциннатах [18], пользующихся вполне безгрешными доходами.

Занятия его приобрели мирный и патриархальный характер: он более всего предается садоводству и беседам с природой, вызывающей в нем благочестивые размышления о беспредельном величии божием.

Усладительно видеть его летом, когда он, усадив на длинные дроги супругу и всех маленьких Порфирычей и Порфирьевн, которыми щедро наделила его природа, отправляется за город кушать вечерний чай. Перед вами восстает картина Иакова, окруженного маленькими Рувимами, Иосиями, не помышляющими еще о продаже брата своего Иосифа.

Там, на лоне матери-природы, сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он – *человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.*

## КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА

Княжне Анне Львовне скоро минет тридцать лет. Она уже довольно отчетливо сознает, что надежда – та самая, которая утешает царя на троне и земледельца в поле, – начинает изменять ей. Прошла пора детских игр и юношеских увлечений, прошла пора жарких мечтаний и томительных, но сладостных надежд. Наступает пора благоразумия. Княжна понимает все это и, по-видимому, покоряется своей судьбе; но это только по-видимому, потому что жизнь еще сильным ключом бьет в ее сердце и громко предъявляет свои права. По этой же самой причине положение княжны делается до крайности несносно. Она чувствует, что должна отказаться от надежды, и между тем надежда ни на минуту не оставляет ее сердца... Чаше и чаще она задумывается; глаза ее невольно отрываются от работы и пристально всматриваются в даль; румянец внезапно вспыхивает на поблекнувших щеках, и даже губы шевелятся. Должно полагать, что в эти минуты она бывает очень счастлива. Когда ее папа, князь Лев Михайлович, старичок весьма почтенный, но совершенно не посвященный в тайны женского сердца, шутя называет ее своею Антигоной [19], то на губах ее, сияющих изобразить приятную улыбку, образуется нечто кислое, сообщающее ее доброму лицу довольно неприятное выражение. Нередко также, среди весьма занимательного разговора с наиостроумнейшим из крутогорских кавалеров, с княжной вдруг делается нервный припадок, и она начинает плакать. «Антигоне мужа хочется!» – говорят при этом крутогорские остряки.

Княжна вообще отличная девушка. Она очень умна и приветлива, а добра так, что и сказать нельзя, и между тем – странное дело! – в городе ее не любят, или, лучше сказать, не то что не любят, а как-то избегают. Говорят, будто сквозь ее приветливость просвечивает холодность и принужденность, что в самой доброте ее нет той симпатичности, той страстности, которая одна и составляет всю ценность доброты. Все в ней как будто не dokonчено; движения не довольно мягки, не довольно круглы; в голосе нет звучности, в глазах нет огня, да и губы как-то уж чересчур тонки и бледны. «А все оттого, что надо Антигоне мужа!» – замечают те же остряки.

Княжна любит детей. Часто она затевает детские вечеринки и от души занимается маленькими своими гостями. Иногда случается ей посадить себе на колени какого-нибудь туземного малютку; долго она нянчится с ним, целует и ласкает его; потом как будто задумается, и вдруг начнет целовать, но как-то болезненно, томительно. «Ишь как ее разобрало! – глубокомысленно замечают крутогорцы, – надо, ох, надо Антигоне мужа!»

Княжна любит природу – оттого что ей надо мужа; она богомольна – оттого что вымаливает себе мужа; она весела – потому что надеется найти себе мужа; скучна – оттого что надежда на мужа обманула ее... везде муж!

Слово «муж» точит все существование княжны. Она читает его во всех глазах; оно чудится ей во всяком произнесенном слове... И что всего грустнее, это страшное слово падает не на здоровый организм, а на действительную рану, рану глубокую и вечно болящую. Княжна усиливается забыть его, усиливается закалить свои чувства, потерять зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, сделаться существом безразличным, но все усилия напрасны. «Кому ты дала радость? Кого наделила счастьем? Кого успокоила? Чье существование просветлено тобой? Кому ты нужна?» – шепчет ей и днем и ночью неотступный голос, посильнее голоса крутогорских остряков. И напрасно княжна хочет обмануть себя тем, что она нужна папаше. Тот же голос твердит ей: «Господи! как отрадно, как тепло горит в жилах молодая кровь! как порывисто и сладко бьется в груди молодое сердце! как освежительно ласкает распаленные страстью щеки молодое дыханье! Сколько жизни, сколько тепла... сколько любви!»

И княжна невольно опускает на грудь свою голову. «И как хорош, как светел божий мир! – продолжает тот же голос. – Что за живительная сила разлита всюду, что за звуки, что



за звуки носятся в воздухе!.. Отчего так вдруг бодро и свежо делается во всем организме, а со дна души незаметно встают все ее радости, все ее светлые, лучшие побуждения!»

Очевидно, что такие сафические мысли [20] могут осаждать голову только в крайних и не терпящих отлагательства «случаях». Княжна плачет, но мало-помалу источник слез иссякает; на сцену выступает вся желчь, накопившаяся на дне ее тридцатилетнего сердца; ночь проводится без сна, среди волнений, порожденных злобой и отчаяньем... На другой день зеркало имеет честь докладывать ее сиятельству, что их личико желто, как выжатый лимон, а глаза покрыты подозрительною влагой...

Княжна попала в Крутогорск очень просто. Папаша ее, промотавши значительное состояние, ощутил потребность успокоиться от тревожений света и удалиться из столицы, в которой не имел средств поддерживать себя по табели о рангах. После идеи о муже идея о бедности была самою мучительною для княжны; склонности к роскоши и всякого рода удобствам до того впились в нее и срослись со всем ее существом, что скромная действительность, которая ждала ее в Крутогорске, раздражала ее. Все здесь было как-то не по ней: общество казалось тяжелым и неуклюжим; в домах все смотрело неопрятно; грязные улицы и деревянные тротуары наводили уныние; танцевальные вечера, которые изредка назначались в «благородном» собрании, отличались безвкусицей, доходившим до безобразия...

Такая полная невозможность утопить гнетущую скуку в тех простых и нетрудных удовольствиях света, которые в столице так доступны для всякой порядочной женщины, вызвала в сердце княжны потребность нового для нее чувства, чувства дружбы и доверчивости.

К сожалению, хотя, быть может, и не без тайного расчета, выбор ее пал на сумрачнейшую из крутогорских сплетниц, вдову умершего под судом коллежского регистратора, Катерину Дементьевну Шиловостову. Катерина Дементьевна с юношеских лет посвятила свою особу возделыванию вертограда добродетелей, к которым, как дама, оскорбленная судьбой, питала чрезмерную склонность. Добродетели эти заключались преимущественно в различного рода чувствах преданности и благоговения, предметы которых благоразумно избирались ею между губернскими тузами. Нет сомнения, что известная всему миру пресыщенность носов наших губернских аристократов, оказывающая чувствительность лишь к острым и смолистым фимиамам, всего более руководила Катерину Дементьевну в этом выборе. Удостоенная интимных сношений с княжной, она нашла, что ее сиятельство в себе одной соединяет коллекцию всех женских совершенств. Оказывалось, например, что «таких ручек и ножек не может быть даже у принцессы»; что лицо княжны показывает не более восемнадцати лет; разобраны были самые сокровенные совершенства ее брэнного тела, мельчайшие подробности ее туалета, и везде замечено что-нибудь в похвалу благодетельницы.

И княжна потихоньку смеялась, а иногда и вздыхала, но как-то сладко, успокоительно, в несколько приемов, как вздыхают капризные, но милые дети, после того как вдоволь наплачутся.

Несмотря на всю грубость и, так сказать, вещественность этой лести, княжна поддалась ей: до того в ней развита была потребность фимиама. От лести не далеко было и до сплетничанья. Княжна мгновенно, так сказать гальванически, была посвящена во все мелочи губернской закулисной жизни. Ей стали известны все скрытые безобразия, все сердечные недуги, все скорби и болячки крутогорского общества. Добытые этим путем сведения вообще пошлы и грязноваты. По большей части им служат канвою половые побуждения и самые серенькие подробности будничной жизни. В этом миниятурном мире, где все взаимные отношения определяются в самое короткое время с изумительнейшею точностию, где всякая личность уясняется до малейшей подробности, где нахально выметается в публику весь сор с заднего двора семейного пандемониума [21] – все интересы, все явления делаются до того узенькими, до того пошлыми, что человеку, имеющему здоровое обоняние, может сделаться тошно.

И между тем – замечательная вещь! – даже личность, одаренная наиболее деликатными нервами, редко успевает отделаться от сокрушительного влияния этой миниятюрной и, по наружности, столь непривлекательной жизни! Не вдруг, а день за день, воровски подкрадывается к человеку провинциальная вонь и грязь, и в одно прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах, которыми преизобилует жизнь маленького городка. Отбиться от них нет никакой возможности: они, как мошки в Барабинской степи, залезают в нос и уши и застилают глаза. И в самом деле, как бы ни была грязна и жалка эта жизнь, на которую слепому случаю угодно было осудить вас, все же она жизнь, а в вас самих есть такое нестерпимое желание жить, что вы с закрытыми глазами бросаетесь в грязный омут – единственную сферу, где вам представляется возможность истратить как попало избыток жизни, бьющий ключом в вашем организме. И вот провинциальная жизнь предлагает вам свои дешевые материяльные удобства, свою лень, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый разврат... И все это так легко, так просто достается! Вам начинает сдаваться, что вы нечто вроде сказочного паши, что стоит вам только пожелать, чтобы все исполнилось... Правда, залетает иногда мимоходом в вашу голову мысль, что и желания ваши сделались как будто ограниченнее, и умственный горизонт как-то стал уже, что вы легче, дешевле миритесь и удовлетворяетесь, что вообще в вас происходит что-то неловкое, неладное, от чего в иные минуты бросается вам в лицо краска... Но мало-помалу и эта докучная мысль начинает беспокоить вас реже и реже; вы даже сами спешите прогнать ее, как назойливого комара, и, к полному вашему удовольствию, добровольно, как в пуховике, утопаете в болоте провинциальной жизни, которого поверхность так зелена, что издали, пожалуй, может быть принята за роскошный луг.

Таким образом, и княжна очень скоро начала находить весьма забавным, что, например, вчерашнюю ночь Иван Акимыч, воротясь из клуба ранее обыкновенного, не нашел дома своей супруги, вследствие чего произошла небольшая домашняя драма, по-французски называемая *roman intime*,<sup>16</sup> а по-русски потасовкой, и оказалось нужным содействие полиции, чтобы водворить мир между остервенившимися супругами.

– И после этого она решается показываться в обществе? – наивно вопрошает княжна.

– И, матушка! брань на вороту не виснет! – отвечала вдова Шиловостова, – у наших барынь бока медные, а лбы чугунные!

В следующий раз предложен был рассказ о происшествии, случившемся в загородном саду. Повздорил стряпчий с каким-то секретарем. Секретарь пил чай, а стряпчий проходил мимо, и вдруг ни с того ни с сего хлысть секретаря в самую матушку-физиономию. Секретарь, не получавший подарков лет десять, возразил на это, что стряпчий подлец, а стряпчий отвечал, что не подлец, а тот подлец, кто платки из карманов ворует, и ударил секретаря вдругорядь в щеку. Кончилось дело, «ангел вы мой», тем, что в ссору вступился протоколист, мужчина вершков этак четырнадцати, который тем только и примирил враждующие стороны, что и ту, и другую губительнейшим образом оттузил во все места.

И все это было передаваемо с тою бесцветною ясностью, которая составляет необходимую принадлежность всякого истинно правдивого деэписателя.

Княжна знала, какое количество ваты истребляет Надежда Осиповна, чтоб сделать свой бюст роскошным; знала, что Наталья Ивановна в грязь ползет, если видит, что там сидит мужчина; что Петр Ермолаич только до обеда бывает человеком, а после обеда, вплоть до другого утра, *не годится*; что Федору Платонычу вчерашнего числа прислал полорецкий городничий свежей икры *в презент*; что Вера Евлампьевна, выдавая замуж свою дочь, вызывала зачем-то окружающих из уездов.

<sup>16</sup> интимный роман (франц.).

Однако ж в одно прекрасное утро княжна задумалась. Ей доложили, что Катерина Дементьевна рассказывала *там-то и там-то*, будто она, княжна, без памяти влюблена в секретаря земского суда Подгоняйчикова. Княжна не хотела верить, но впоследствии вынуждена была уступить очевидности. По произведенному под рукой дознанию оказалось, что Подгоняйчиков приходится родным братом Катерине Дементьевне, по муже Шиловостовой и что, по всем признакам, он действительно имел какие-то темные посягательства на сердечное спокойствие княжны. Признаки эти были: две банки помады и стеклянка духов, купленные Подгоняйчиковым в тот самый период времени, когда сестрица его сделалась наперсницей княжны; гитара и бронзовая цепочка, приобретенная в то же самое время, новые брюки и, наконец, найденные в секретарском столе стихи *к ней*, писанные рукой Подгоняйчикова и, как должно полагать, им самим сочиненные.

Княжна пришла в ужас, и на другой день мадам Шиловостова была с позором изгнана из дома, а Подгоняйчиков, для примера прочим, переведен в оковский земский суд на вакансию простого писца.

Весть эта с быстротою молнии разлилась по городу и произвела на чиновный люд какое-то тупое впечатление. Обвиняли все больше Подгоняйчикова.

– Слышал? – спрашивал Саша Дернов знакомого своего, Гирбасова, встретившись с ним на улице.

– Слышал, – отвечал Гирбасов, – что ж, сам виноват!

– Выходит, что надо держать язык за зубами...

– Да, этак-то, пожалуй, выгоднее... Недалеко ведь было ему и до станового!.. А не зайдешь ли к нам выпить водочки?

И затем Подгоняйчиков, со всею помадой и новыми брюками, навек канул в Лету.

Разочаровавшись насчет крутогорской дружбы, княжна решила заняться благотворительностью. Немедленно по принятии такого решения собраны были к ее сиятельству на совет все титулярные советники и титулярные советницы, способные исполнять какую бы то ни было роль в предложенном княжною благородном спектакле. Выбрана была пьеса «И хороша и дурна» и т. д. Главную роль должна была исполнить, *comme de raison*,<sup>17</sup> сама виновница сего торжества; роль же Емельяна выпала на долю статского советника Фурначева. Статскому советнику думали польстить, дав ему эту роль, потому что его высокородие обладал действительным комическим талантом; однако, сверх всякого ожидания, это обстоятельство погубило спектакль. Статский советник Фурначев оскорбился; он справедливо нашел, что в Крутогорске столько губернских секретарей, которые, так сказать, созданы в меру Емельяна, что странно и даже неприлично возлагать такое поручение на статского советника. Спектакль не состоялся, но прозвище Емельяна навсегда упрочилось за статским советником Фурначевым. Даже уличные мальчишки, завидя его издали, поспешающего из палаты отведать горячих щей, прыгали и кричали что есть мочи: «Емельян! Емельян идет!»

Княжна этим утешилась.

После этой неудачи княжна попробовала благотворительной лотереи. К участию приглашены были все лица, известные своею благотворительностью на пользу ближнего. В разосланных на сей конец объявлениях упомянуты были слезы, которые предстояло отереть, старцы, обремененные детьми, которых непременно нужно было одеть, и даже дети, лишенные старцев. В одно прекрасное утро проснувшиеся крутогорские чиновники с изумлением увидели, что по улицам мирного Крутогорска журчат ручьи слез, а площади покрыты дрожащими от холода голыми малютками. И княжна не напрасно взывала к чувствительным сердцам крутогорцев. Первым на ее голос отозвался управляющий палатой государственных имуществ, как

---

<sup>17</sup> как и полагается (франц.).

grand seigneur<sup>18</sup> и сам попечитель множества малюток, приславший табакерку с музыкой; за ним последовал неперменный член строительной комиссии, жена которого пожертвовала подушку с изображением турка, играющего на флейте. Через неделю кабинет княжны был наполнен всякого рода редкостями. Тут был и окаменелый рак, и вечная борзая собака в виде пресспапье; но главную роль все-таки играли разного рода вышиванья.

Княжна была очень довольна. Она беспрестанно говорила об этих *милых* бедных и называла их не иначе, как *своими сиротками*. Конечно, «ее участие было в этом деле самое ничтожное»; конечно, она была только распорядительницей, «elle ne faisait que courir au devant des vœux de l'aimable société de Kroutogorsk<sup>19</sup> – тем не менее она была так счастлива, так проникнута, „si pénétrée“,<sup>20</sup> святостью долга, выпавшего на ее долю! – и в этом, единственно в этом, заключалась ее „скромная заслуга“. Если бы nous autres<sup>21</sup> не спешили навстречу de toutes les misères,<sup>22</sup> которые точат, oui qui rongent – c'est le mot<sup>23</sup> – наше бедное общество, можно ли было бы сказать, что мы исполнили наше назначение? С другой стороны, если б не было бедных, этих *милых* бедных, – не было бы и благотворительности, некому было бы утирать нос и глаза, et alors où serait le charme de cette existence!<sup>24</sup> Княжна распространялась очень много насчет удовольствий благотворительности и казалась до того пропитанною благоволением любви к ближнему, что девицы Фигуркины, тщательно наблюдавшие за нею и передразнивавшие все ее движения, уверяли, что из головы ее, во время розыгрыша лотереи, вылетало какое-то электричество.

Но, увы! кончилась и лотерея; брандмейстер роздал по два целковых всем безносым старухам, которые оказались на ту пору в Крутогорске; старухи, в свою очередь, внесли эти деньги полностью в акцизно-откупное комиссионерство [22] – и снова все сделалось тихо.

Снова осталась княжна один на один с своею томительною скукой, с беспредметными тревогами, с непереносимым желанием высказаться, поделиться с кем-нибудь жадной любви и счастья, которая, как червь, источила ее бедное сердце. Снова воздух насытился звуками и испареньями, от которых делается жутко сердцу и жарко голове.

Однажды княжне встретилась необходимость войти в комнату, которая была предназначена для дежурного чиновника. На этот раз дежурным оказался Павел Семеныч Техоцкий, молодой человек, отлично скромный и обладавший сверх того интересным и бледным лицом. Павел Семеныч, при появлении княжны, несколько смутился; княжна, при взгляде на Павла Семеныча, слегка покраснела. В руках у нее был конверт, и конверт этот, неизвестно по какой причине, упал на пол. Техоцкий бросился поднимать его и... поднял. Княжна поблагодарила, но без всякого изменения и дрожания в голосе, как ожидают, быть может, некоторые читатели, сохранившие юношескую привычку верить во внезапные симпатии душ.

– Не можете ли вы отнести этот конверт на почту? – спросила княжна.

Техоцкий взял конверт и удалился из комнаты.

Несмотря на свою кажущуюся ничтожность, происшествие это имело чрезвычайное влияние на княжну. Неизвестно почему, ей показалось, что Техоцкий принадлежит к числу тех гонимых и страждущих, которые стоят целою головою выше толпы, их окружающей, и по этому самому должны каждый свой шаг в жизни запечатлеть жертвованиями и упорною борьбою. Она не имела времени или не дала себе труда подумать, что такие люди, если они еще и водятся

<sup>18</sup> вельможа (франц.).

<sup>19</sup> она только спешила навстречу пожеланиям милого крутогорского общества (франц.).

<sup>20</sup> так проникнута (франц.).

<sup>21</sup> мы (франц.).

<sup>22</sup> всем бедствиям (франц.).

<sup>23</sup> да, которые точат – это подходящее слово (франц.).

<sup>24</sup> и тогда в чем была бы прелесть этого существования! (франц.)

на белом свете, высоко держат голову и гордо выставляют свой нахальный нос в жертву дерзким ветрам, а не понуривают ее долу, как это делал Техоцкий.

Княжна сама себя считала одною из „непризнанных“, и потому весьма естественно, что душа ее жаждала встретить такого же „непризнанного“. С двадцатипятилетнего возраста, то есть с того времени, как мысль о наслаждениях жизни оказалась крайне сомнительною, княжна начала уже думать о гордом страдании и мысленно создавала для себя среди вечно волнуемого океана жизни неприступную скалу, с вершины которой она, „непризнанная“, с улыбкой горечи и презрения смотрела бы на мелочную суетливость людей. Мудрено ли, что она и Техоцкого нарядила в те самые одежды, в которых сама мысленно любила красоваться: сердце так легко находит то, к чему постоянно стремится! Расстояние, которое лежало между ею и бедным маленьким чиновником канцелярии ее папаша, только давало новую пищу ее воображению, раздражая его и ежечасно подстрекая то стремление к неизвестному и неизведанному, которое во всякой женщине составляет господствующую страсть.

Княжна сделалась задумчивее и вместе с тем как-то деятельнее. Она чаще устраивала собрания и всякого рода общественные увеселения и чрезвычайно хлопотала, чтобы в них принимало участие как можно более молодых людей. Иногда ей удавалось встречать там Техоцкого, и хотя, по своему положению в губернском свете, она не могла ни говорить, ни танцевать с ним, но в эти вечера она была вполне счастлива. По возвращении домой она садилась к окну, и сердце ее делалось театром тех жгучих наслаждений, которые сушат человека и в то же время втягивают его в себя сверхъестественною силой. Слова любви, полные тоски и молении, тихо нежили ее слух; губы ее чувствовали чье-то жаркое прикосновение, а в жилах внезапно пробегала тонкая, разъедающая струя огня... Мучительные, но отменно хорошие мгновения!

Однако ж встречи с Техоцким не могли быть частыми. Оказалось, что для того, чтобы проникнуть в святилище веселия, называемое клубом, необходимо было вносить каждый раз полтинник, и это правило, неудобное для мелких чиновников вообще, было в особенности неудобно для Техоцкого, который был из мелких мельчайшим. Узнавши об этом, княжна рассердилась: по выражению Сафо, которая, по всем вероятностям, приходилась ей двоюродной сестрицей, она сделалась „зеленее травы“. Сверх того, и в отношении к туалету у Техоцкого не все было в исправности, и провинности, обнаруживавшиеся по этой части, были так очевидны, что не могли не броситься в глаза даже ослепленной княжне. Фрак был и короток и узок; рукава как-то мучительно обтягивали руки и на швах побелели; пуговицы обносились; жилет оказывался с какими-то стеклянными пуговицами, а перчаток и совсем не было... вовсе неприлично! Хоть княжна и стремилась душой к гонимым и непризнанным, но ей было желательно, чтоб они были одеты прилично, имели белые перчатки и носили лакированные сапоги. Это так мило: Чайльд-Гарольд, с бледными щеками, высоким лбом – и в бесподобнейшем черном фраке! У княжны имелась небольшая сумма денег, сбереженная от покупки разного женского тряпья: предстояло деньги эти во что бы то ни стало вручить Техоцкому.

Павел Семеныч был снова дежурным, и снова княжна посетила дежурную комнату. Оказывалось нужным написать какой-то адрес на конверте письма.

– Отчего вы не бываете в клубе? – спросила княжна совершенно неожиданно, и на этот раз с видимым волнением.

Техоцкий смутился и просто ни слова не ответил.

– Вы хорошо пишете, – сказала княжна, рассматривая его почерк.

Но Техоцкий опустил глаза в землю и продолжал упорно молчать.

– Вы где учились?

– В училище детей канцелярских служителей, ваше сиятельство, – отвечал Техоцкий скороговоркой и покраснев как рак.

Княжна задумалась. При всей ее экзальтации, сочетание слов „сиятельство“ и „училище детей канцелярских служителей“ звучало так безобразно, что не могло не поразить ее.

– Хорошо, – сказала она, – приходите завтра; мне нравится ваш почерк, и я найду для вас работу.

Княжна откопала какую-то старую рукописную поэму; нашла, что она дурно переписана, и на другой день вручила ее Техоцкому.

– Вы можете разобрать эту руку? – спросила княжна.

– Точно так-с, ваше сиятельство, – отвечал Техоцкий.

– Отчего вы говорите мне „ваше сиятельство“?

Техоцкий молчал.

– Порядочные люди говорят просто „княжна“, – продолжала она задумавшись и как будто про себя. – Вы читаете что-нибудь?

– Никак нет-с.

– Чем же вы занимаетесь?

– Служу-с.

– А дома?

Техоцкому сделалось неловко.

– Вы читайте, – сказала княжна и сделала знак головою, чтоб он удалился.

По уходе его Анне Львовне сделалось необыкновенно грустно: ничтожество и неотесанность Техоцкого так ярко выступили наружу, что ей стало страшно за свои чувства. В это время вошел в ее комнату папаша; она бросилась к нему, прижалась лицом к его груди и заплакала.

– Что ты! что с тобой, дурочка? – спросил его сиятельство, сильно перетревожившись.

– Мне скучно, папасецка, – отвечала княжна, вдруг превращаясь в доверчивого и картавящего шестнадцатилетнего ребеночка.

Его сиятельство, откровенно сказать, был вообще простоват, а в женских делах и ровно ничего не понимал. Однако он притворился, будто об чем-то думает, причем физиономия его приняла совершенно свиное выражение, а руки как-то нескладно болтались по воздуху.

– Уж, право, я не знаю, чего тебе, дурочка, хочется! – сказал он в сильнейшем раздумье, – кажется, ты первое лицо в городе... право, не знаю, чего тебе хочется!

И князь усиленно вздохнул, как будто вывез целый поз в гору.

– Папасецка! какое самое последнее место в свете? – вдруг спросила княжна.

– То есть как самое последнее?

– Ну да, самое последнее – такое вот, где все приказывают, а сам никому не приказываешь, где заставляют писать, дежурить...

Князь углубился.

– То есть, как же дежурить? – спросил он, – дежурят, дурочка, чиновники, *mais on n'en parle pas*...<sup>25</sup>

– Ну, а какое место выше чиновника?

Князь чрезвычайно обрадовался случаю выказать перед дочерью свои административные познания и тут же объяснил, что чиновник – понятие генерическое, точно так же, как, например, рыба: что есть чиновники-осетры, как его сиятельство, и есть чиновники-пискари. Бывает и еще особый вид чиновника – чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей; но осетры, *ma chère enfant, c'est si beau, si grand, si sublime*,<sup>26</sup> что на такую мелкую рыбешку, как пискари, не стоит обращать и внимание. Княжна призналась, что она знает одного такого пискаря; что у него старушка-мать, *une gentille petite vieille et très proprette*<sup>27</sup> – право! – и пять сестер, которых он единственная опора. И для того, чтобы эта опора была солиднее, необходимо как можно скорее произвести пискаря, по крайней мере, в щурята...

---

<sup>25</sup> но о них не говорят... (франц.)

<sup>26</sup> милое мое дитя, это так красиво, так крупно, так величественно (франц.).

<sup>27</sup> прелестная старушка и очень благовоспитанная (франц.).

.....

Между тем Павел Семеныч, по свойственной человечеству слабости, спешил сообщить о постигшем его счастье испытанному своему другу Петьке Трясучкину. Трясучкин получал жалованья всего пять рублей в месяц и по этой причине был с головы до пяток закален в горниле житейских бедствий. Родители называли его при рождении Петром, но обычай утвердил за ним прозвание Петуха, с которым он совершенно освоился. Некоторые называли его также принцем и вашим превосходительством: он и на эти прозвища откликался, и вообще выказывал в этом отношении полнейшее равнодушие. Только действительное его имя, Петр Иванович, несколько дико звучало в его ухе: до такой степени оно было изгнано из общего употребления.

Юные коллежские регистраторы и канцелярские чиновники избирали его своим confidentом в сердечных случаях, потому что он по преимуществу был муж совета. Хотя бури жизни и порастрепали несколько его туалет, но никто не мог дать более полезного наставления насчет цвета штанов, который мог бы подействовать на сердце женщины с наиболее сокрушительной силой...

Трясучкин выслушал внимательно простодушный рассказ своего друга и заметил, что „тут, брат, пахнет Подгоняйчиковым“.

– Это, брат, дело надобно вести так, – продолжал он, – чтоб тут сам черт ничего не понял. Это, брат, ты по-приятельски поступил, что передо мной открылся; я эти дела вот как знаю! Я, брат, во всех этих штуках искусился! Недаром же я бедствовал, недаром три месяца жил в шкапу в уголовной палате: квартиры, брат, не было – вот что!

– Ну, так как же ты думаешь, Петух! ведь тут славную можно штуку сыграть!

Трясучкин замотал головой.

– Ты меня послушай! – говорил он таинственным голосом, – это, брат, все зависит от того, как поведешь дело! Может быть славная штука, может быть и скверная штука; можно быть станowym и можно быть ничем... понимаешь?

– Да, оно хорошо, кабы станowym!

– Ты сказал: станowym – хорошо! Следовательно, и действуй таким манером, чтоб быть тебе станowym. А если, брат, будешь станowym, возьми меня к себе в письмоводители! Мне, брат, что мне хлеба кусок да место на печке! я брат, спартанец! одно слово, в шкапу три месяца выжил!

– Как в шкапу?

– Так, брат, в шкапу! Ты думаешь, может, дело обо мне в шкапу лежало? так нет: сам своею собственною персоной в шкапу, в еловом шкапу, обитал! там, брат, и ночевал.

– Так вот мы каковы! – говорил Техоцкий, охорашиваясь перед куском зеркала, висевшим на стене убогой комнаты, которую он занимал в доме провинциальной секретарши Оболдуевой, – в нас, брат, княжны влюбляются!.. А ведь она... того! – продолжал он, приглаживая начатки усов, к которым все канцелярские чувствуют вообще некоторую слабость, – бабенка-то она хоть куда! И какие, брат, у нее ручки... прелесть! так вот тебя и манит, так и подмывает!

– Что ручки! – отвечал Трясучкин уныло, – тут главное дело не ручки, а станowym быть! вот ты об чем подумай!

И на дружеском совете положено было о ручках думать как можно менее, а, напротив того, все силы-меры направить к одной цели – месту станowego.

Ваше сиятельство! куда вы попали? что вы сделали? какое тайное преступление лежит на совести вашей, что какой-то Трясучкин, гадкий, оборванный, Трясучкин осмеливается взвешивать ваши девственные прелести и предпочитать им – о, ужас! – место станowego пристава?

Embourbée! embourbée!<sup>28</sup> Все воды реки Крутогорки не смоят того пятна, которое неизгладимо легло на вашу особу!

Княжна действительно томится и увядает. Еще в детстве она слыхала, что одна из ее grandes-tantes, princesse Nina,<sup>29</sup> убежала с каким-то разносчиком; ей рассказывали об этой истории, comme d'une chose sans pom,<sup>30</sup> и даже, из боязни запачкать воображение княжны, не развивали всех подробностей, а выражались общими словами, что родственница ее сделала vilénie.<sup>31</sup> И вдруг та же самая vilénie повторяется на ней! Потому что ведь разносчик и Техоцкий – это, в сущности, одно и то же, потому что и папа удостоверяет, что чиновники, ma chère enfant, se sont de ces gens, dont on ne parle pas.<sup>32</sup>

И между тем сердце говорит громче, нежели все доводы рассудка; сердце дрожит и сжимается, едва слышит княжна звуки голоса Техоцкого, как дрожит и сжимается мышонок, завидев для себя неотразимую смерть в образе жирного, самодовольного кота.

И чем пленил он ее? Что могло заставить ее, княжну, снизить до бедного, никем не замечаемого чиновника? Рассудок отвечает, что всему виною праздность, полная бездеятельность души, тоска, тоска и тоска! Но почему же не Трясучкин, а именно Техоцкий дал сердцу ту пищу, которой оно жаждало! Княжна с ужасом должна сознаться, что тут существуют какие-то смутные расчеты, что она сама до такой степени embourbée, что даже это странное сборище людей, на которое всякая порядочная женщина должна смотреть совершенно бесстрастными глазами, перестает быть безразличным сбродом, и напротив того, в нем выясняются для нее совершенно определительные фигуры, между которыми она начинает уже различать красивых от уродов, глупых от умных, как будто не все они одни и те же – о, mon Dieu, mon Dieu!<sup>33</sup>

И за всем тем княжна не может не принять в соображение и того обстоятельства, что ведь Техоцкий совсем даже не человек, что ему можно приказать любить себя, как можно приказать отнести письмо на почту.

Это для него все единственно-с.

В этой борьбе, в этих сомнениях проходит несколько месяцев. Техоцкий, благодаря новому положению, созданному для него княжной, новой паре платья, которую также княжна успела каким-то образом устроить для него на свой счет, втерся в высшее крутогорское общество. Он уже говорит о княжне без подобострастия, не называет ее „сиятельством“ и вообще ведет себя как джентльмен, который, по крутогорской пословице, „сальных свеч не ест, стеклом не закусывает“. Сама княжна, встречая его в обществе, помаленьку заговаривает с ним. Разговор их обыкновенно отличается простотою и несложностью.

– Читали вы Оссиана? – спрашивает княжна, которой внезапно припадает смертная охота сравнить себя с одною из туманных героинь этого барда.

Техоцкий краснеет и закусывает губы. Ему в первый раз в жизни приходится слышать об Оссиане.

– Вы прочтите, – говорит княжна, несколько раздосадованная, что разговор, обещавший сделаться интересным, погиб неестественною смертью.

Вообще, княжна, имевшая случай читать много и пристально, любит сравнивать себя с героинями различных романов. Более других по сердцу пришелся Жорж Санд и ей, без всяких шуток, иногда представляется, что она – Valentine, а Техоцкий – Benoît [23].

<sup>28</sup> запуталась! погрязла! (франц.)

<sup>29</sup> тетушек, княжна Нина (франц.).

<sup>30</sup> как о неслыханной вещи (франц.).

<sup>31</sup> низость (франц.).

<sup>32</sup> милое дитя, это люди, о которых не говорят (франц.).

<sup>33</sup> о, боже мой, боже мой! (франц.)



И вот они встретились, и встретились наконец один на один. Дело происходило в загородной роще, в которую княжна часто езжала для прогулок. Жаркое летнее солнце еще высоко стояло на горизонте, но высокие сосны и ели, среди которых прорезаны аллеи для гуляющих, достаточно защищали от лучей его. В воздухе было томительно сухо и жарко; сильный запах сосны как-то особенно раздражительно действовал на нервы; в роще было тихо и мертво. Крутогорские жители вообще не охотники до романических прогулок, а в шестом часу и подавно. В это время все спешат отделаться от ежедневного посещения статского советника Храповицкого, а не то чтоб гулять. Княжна ходила много и покраснелась; в эти минуты она была даже недурна и казалась несравненно моложе своих лет. Глаза ее были влажны и вместе с тем блестящи; рот полуоткрыт, дыхание горячо; грудь поднималась и опускалась с какою-то истомой... И надо же, в таком чрезвычайном положении, встретить – кого же? – предмет всех тайных желаний, Павла Семеныча Техоцкого!

Что эта встреча была с ее стороны не преднамеренная – доказательством служит то, что ей сделалось дурно, как только Техоцкий предстал пред глазами ее во всем блеске своей новой пары.

Человека княжны вблизи не было, и Техоцкому волею-неволею пришлось поддержать ее и посадить на скамью. Неизвестно, как это случилось, но только когда княжна открыла глаза, то голова ее покоилась на плече у возлюбленного. Очнувшись, она было отшатнулась, но, вероятно, пары, наполнявшие в то время воздух, были до того отуманивающего свойства, что головка ее сама собой опять прильнула к плечу Техоцкого. Так пробыла она несколько минут, и Техоцкий возымел даже смелость взять ее сиятельство за талию: княжна вздрогнула; но если б тут был посторонний наблюдатель, то в нем не осталось бы ни малейшего сомнения, что эта дрожь происходит не от неприятного чувства, а вследствие какого-то странного, всеобщего ощущения довольства, как будто ей до того времени было холодно, и теперь вдруг по всему телу разлилась жизнь и теплота. Княжна даже не глядела на своего обожателя; она вся сосредоточилась в себе и смотрела совсем в другую сторону. Но если бы она могла взглянуть в глаза Техоцкому, если б талия ее, которую обнимала рука милого ей канцеляриста, была хоть на минуту одарена осязанием, она убедилась бы, что взор его туп и безучастен, она почувствовала бы, что рука эта не согрета внутренним огнем.

Техоцкий молчал; княжна также не могла произнести ни слова. В первом молчании было результатом тупости чувства, во второй – волнения, внезапно охватившего все ее существо. Наконец княжна не выдержала и заплакала.

– Ваше сиятельство! – произнес Техоцкий.

Но княжна не слышала и продолжала плакать.

– Ваше сиятельство! – вновь начал Техоцкий, – имею до вас покорнейшую просьбу.

Княжна вдруг перестала плакать и пристально посмотрела на него. Техоцкий упал на колени.

– Ваше сиятельство! – вопиял он, ловя ее руки, – заставьте бога за вас молить! похлопочите у его сиятельства!

Княжна встала.

– Что вам нужно? – спросила она сухо.

– Мне-с?.. В Оковском уезде открывается вакансия станового пристава.

– А!.. – произнесла княжна и с достоинством удалилась по аллее.

К сожалению, полная развязка этой истории не дошла до меня; знаю только, что с этого времени остроумнейшие из крутогорских чиновников, неизвестно с какого повода, прозвали княжну пауком-бабой.

## ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО

Если вы живали в провинции, мой благосклонный читатель, то, вероятно, знаете, что каждый губернский и уездный город непременно обладает своим «приятным» семейством, точно так же как обладает городничим, исправником и т. п. В приятном семействе все члены, от мала до велика, наделены какими-нибудь талантами. Первый и существеннейший талант принадлежит самим хозяину и хозяйке дома и заключается в том, что они издали в свет целый выводок прелестнейших дочерей и немалое количество остроумнейших птенцов, составляющих красу и утешение целого города. Затем, старшая дочь играет на фортепьяно, вторая дочь приятно поет романсы, третья танцует характерные танцы, четвертая пишет, как Севинье [24], пятая просто умна и т. д. Даже маленькие члены семейства и те имеют каждый свою специальность: Маша декламирует басню Крылова, Люба поет «По улице мостовой», Ваня оденется ямщиком и пропляшет русскую.

– Вы не поверите, мсьё NN, – говорит обыкновенно хозяйка дома, – как я счастлива в семействе; мы никогда не скучаем.

– Да, мы никогда не скучаем, – отзывается хозяин дома, широко и добродушно улыбаясь.

В приятном семействе главную роль обыкновенно играет матап, к которой и гости и дети обращаются. Эту матап я, признаюсь откровенно, не совсем-то долюблю; по моему мнению, она самая неблагонамеренная дама в целом Крутогорске (ограничимся одним этим милым мне городом). Мне кажется, что только горькая необходимость заставила ее сделать свой дом "приятным", – необходимость, осуществившаяся в лице нескольких дочерей, которые, по достаточной зрелости лет, обещают пойти в семена, если в самом непродолжительном времени не будут пристроены. Мне кажется, что в то время, когда она, стиснувши как-то зубы, с помощью одних своих тонких губ произносит мне приглашение пожаловать к ним в один из следующих понедельников, то смотрит на меня только как на искусного пловца, который, быть может, отважится вытащить одну из ее утопающих в зрелости дочерей. Когда я бываю у них, то уверен, что она следит за каждым куском, который я кладу в рот; тщетно стараюсь я углубиться в свою тарелку, тщетно стараюсь сосредоточить всю свою мысль на лежащем передо мною куске говядины: я чувствую и в наклоненном положении, что неблагонамеренный ее взор насквозь пронизывает меня. Разговаривая с ней за ужином, я вижу, как этот взор беспрестанно косит во все стороны, и в то время, когда, среди самой любезной фразы, голос ее внезапно обрывается и принимает тоны надорванной струны, я заранее уж знаю, что кто-нибудь из приглашенных взял два куска жаркого вместо одного, или что лакеи на один из столов, где должно стоять кагорское, ценою не свыше сорока копеек, поставил шато-лафит в рубль серебром.

Вообще, посещая "приятное семейство" по понедельникам, я всегда нахожусь в самом тревожном положении. Во-первых, я постоянно страшусь, что вот-вот кому-нибудь не достанет холодного и что даже самые взоры и распорядительность хозяйки не помогут этому горю, потому что одною распорядительностью никого накормить нельзя; во-вторых, я вижу очень ясно, что Марья Ивановна (так называется хозяйка дома) каждый мой лишний глоток считает личным для себя оскорблением; в-третьих, мне кажется, что, в благодарность за вышеозначенный лишний глоток, Марья Ивановна чего-то ждет от меня, хоть бы, например, того, что я, преисполнившись яств, вдруг сделаю предложение ее *Sevigne*, которая безобразием превосходит всякое описание, а потому менее всех подает надежду когда-нибудь достигнуть тех счастливых островов, где царствует Гименей.

Некоторые, впрочем, из моих добрых знакомых искусно пользуются этим обстоятельством, чтобы совершенно истерзать сердце Марьи Ивановны. Мой друг Василий Николаич,<sup>34</sup>

<sup>34</sup> См. «Буеракин» и «Христос воскрес!» (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

например, никак не упустит случая, чтобы не накласть себе на тарелку каждого кушанья по два и даже по три куска, и половину наложенного сдает лакею нетронутой. Точно так же поступает он и с вином, если оно оказывается уж чересчур кислым. В этом случае он подзывает лакея к себе и без церемонии приказывает ему подать вина с другого стола, за которым сидят женихи и статские советники. Однажды даже, когда подавали Василию Николаичу блюдо жареной индейки, он сказал очень громко лакею: «Э, брат, да у вас нынче индейка-то, кажется, кормленая!» – и вслед за тем чуть ли не половину ее стащил к себе на тарелку. Вследствие этого между Марьей Ивановной и Василием Николаичем существует тайная вражда, и я даже сам слышал, как Марья Ивановна, обратясь к одному из статских советников, сказала: «Чего хочет от меня этот злой человек?»

Независимо от этих свойств, доказывающих ее материнскую заботливость, Марья Ивановна не прочь иногда и посплетничать, или, как выражаются в Крутогорске, вымыть ближнему косточки. Я положительно могу даже уверить, что она, в этом смысле, обладает весьма замечательными авторскими способностями. Главная ее тактика заключается в том, чтоб подойти к истязуемому предмету с слабой стороны: польстить, например, самолюбию, подъехать с участием и т. п. На молодежь это действует почти без промаха. Сказанное вовремя и кстати слово участия мгновенно вызывает наружу все, что таилось далеко на дне молодой души. Душа начинает тогда без разбора и без расчета выбрасывать все свои сокровища; иногда даже и привирает, потому что когда дело на откровенность пошло, то не приврать точно так же невозможно, как невозможно не наесться до отвала хорошего и вкусного кушанья. Но здесь-то и стережет вас Марья Ивановна; она кстати пожалеет вас, если вы, например, влюблены, кстати посмеется с вами, если вы, *в шутовском русском тоне*, рассказываете какую-нибудь новую штуку князя Чебылкина; но будьте уверены, что завтра же и любовь ваша, и проделка его сиятельства будут известны целому городу. На этот счет у Марьи Ивановны имеется также своя особая сноровка. Сохрани бог, чтоб она назвала вас или сказала кому-нибудь, что вы в том-то ей сознались или то-то ей рассказали. Нет, она подходит к какой-нибудь Анфисе Петровне и издали начинает с ней следующего рода разговор:

– Вы знаете мсьё Щедрин? – спрашивает Марья Ивановна.

– Не имею этой чести, – отвечает Анфиса Петровна, состроивши на лице бесконечно язвительную улыбку, потому что Анфисе Петровне ужасно обидно, что мсьё Щедрин, с самого дня прибытия в Крутогорск, ни разу не заблагорассудил явиться к ней с почтением. Замечу мимоходом, что Марья Ивановна очень хорошо знает это обстоятельство, но потому-то она и выбрала Анфису Петровну в поверенные своей сплетни, что, во-первых, пренебрежение мсьё Щедрин усугубит рвение Анфисы Петровны, а во-вторых, самое имя мсьё Щедрин всю кровь Анфисы Петровны мгновенно превратит в сыворотку, что также на руку Марье Ивановне, которая, как дама от природы неблагонамеренная, за один раз желает сделать возможно большую сумму зла и уязвить своим жалом несколько персон вдруг.

– Какой милый, прекрасный молодой человек! – продолжает Марья Ивановна, видя, что Анфису Петровну подергивает судорога, – если б в Крутогорске были всё такие образованные молодые люди, как приятно было бы служить моему Алексису!

– Их все хвалят! – ехидно произносит Анфиса Петровна, переполняясь оцтом и желчью.

– И между тем, представьте, как он страдает! Вы знаете Катерину Дмитриевну? – бедненький!

Анфиса Петровна чуть дышит, чтоб не проронить ни одного слова.

– Ведь вы знаете, *entre nous soit dit*,<sup>35</sup> что муж ее... (Марья Ивановна шепчет что-то на ухо своей собеседнице.) Ну, конечно, мсьё Щедрин, как молодой человек... Это очень понятно! И

<sup>35</sup> между нами говоря (франц.)

представьте себе: она, эта холодная, эта бездушная кокетка, предпочла мсье Щедрина – кого же? – учителя Линкина! Vous savez?... Mais elle a des instincts, cette femme!!!<sup>36</sup>

И, несмотря на все свое сострадание к мсье Щедрина, Марья Ивановна хохочет, но каким-то таким искусственным, деланным смехом, что даже Анфисе Петровне становится от него жутко.

– Этого всегда должно было ожидать, – отвечает кратко собеседница.

– Я его сегодня спрашиваю, отчего вы, мсье Щедрин, такой бледненький? А он мне: "Ах, Марья Ивановна, если б вы знали, что в моем сердце происходит!.." Бедненький!

И тот же деланный смех снова коробит Анфису Петровну, которая очень любит рассказы Марьи Ивановны, но не может привыкнуть к ее смеху.

– Так вы думаете, что Катерина Дмитриевна?..

– Еще бы! – отвечает Марья Ивановна, и голос ее дрожит и переходит в декламацию, а нос, от душевного волнения, наполняется кровью, независимо от всего лица, как пузырек, стоящий на столе, наполняется красными чернилами, – еще бы! вы знаете, Анфиса Петровна, что я никому не желаю зла – что мне? Я так счастлива в своем семействе! но это уж превосходит всякую меру! Представьте себе...

Тут начинается шепот, который заключается словами: "Ну, скажите на милость!" И должно быть, в этом шепоте есть что-то весьма сатанинское, потому что Анфиса Петровна довольна полученными сведениями выше всякого описания.

Что касается до главы семейства, то он играет в своем доме довольно жалкую роль и значением своим напоминает того свидетеля, который, при следствии, на все вопросы следователя отвечает: запомнил, не знаю и не видал. Он очень счастлив по понедельникам, потому что устраивает в этот день себе копеечную партию, и хотя партнеры его беспощадно ругают, потому что он в карты ступить не умеет, но он не обижается. Сверх того, в эти дни он имеет возможность наесться досыта, ибо носят слухи, что Марья Ивановна, как отличная хозяйка, держит обыкновенно и его, и всю семью впроголодь. Если кто-нибудь с ним заговаривает, а это случается лишь в тех случаях, когда желают потешиться над его простодушием, лицо его принимает радостно-благодарное выражение, участие же в разговоре ограничивается тем, что он повторяет последние слова своего собеседника.

Василий Николаич не преминул воспользоваться и этим обстоятельством. Несколько понедельников сряду, к общему утешению всей крутогорской публики, он рассказывал Алексею Дмитричу какую-то историю, в которой одно из действующих лиц говорит: "Ну, положим, что я дурак", и на этих словах прерывал свой рассказ.

– Я дурак, – кротко повторял Алексей Дмитрич.

– Ах, что это какой ты рассеянный, Алексис! – отзывается вдруг Марья Ивановна, прислушавшаяся к разговору.

Вообще, Василий Николаич смотрит на Алексея Дмитрича как на средство самому развлечься и других позабавить. Он показывает почтеннейшей публике главу "приятного семейства", как вожак показывает ученого медведя.

Говорят, будто Алексей Дмитрич зол, особенно если натравит его на кого-нибудь Марья Ивановна. Я довольно верю этому, потому что и из истории известно, что глупые люди и обезьяны всегда злы под старость бывали.

– Умный человек-с, – говаривал мне иногда по этому поводу крутогорский инвалидный начальник, – не может быть злым, потому что умный человек понятие имеет-с, а глупый человек как обозлится, так просто, без всякого резона, как индейский петух, на всех бросается. Вот хоть бы Алексей Дмитрич! за что они на меня сердятся? За то, что я коляски для них в мастерской не сделал? Точно мне жалко мастеровых-с, или я обязанности своей не понимаю-с!

---

<sup>36</sup> Знаете?... Ведь эта женщина не без темперамента!!! (франц.)

Докладывал я им сколько раз, что материялу у меня такого не имеется – так нет, сударь! заладил одно: не хочешь да не хочешь; ну, и заварили кашу. Посудите сами, я-то чем же тут виноват?... Оно и выходит, что и перевернешься – бьют, и не перевернешься – бьют: вот она, какова гусарская служба!

О прочих членах семейства сказать определительного ничего нельзя, потому что они, очевидно, находятся под гнетом своей татап, которая дает им ту или другую физиономию, по своему усмотрению. Несомненно только то, что все они снабжены разнообразнейшими талантами, а дочери, сверх того, в знак невинности, называют родителей не иначе, как «папасецка» и «мамасецка», и каким-то особенным образом подпрыгивают на ходу, если в числе гостей бывает новое и в каком-нибудь отношении интересное лицо.

Приехавши, в один из таких понеделеньников, к Размановским, я еще на лестнице был приятно изумлен звуками музыки, долетавшими до меня из передней. Действительно, там сидело несколько батальонных солдат, которые грустно настраивали свои инструменты.

– Слышь, Ильин, – говорил старший музыкант Пахомов, – ты у меня смотри! коли опять в аллегру отстанешь, я из тебя самого флейту и контрабас сделаю.

– А что, верно, я рано забрался? – спрашиваю я у Василия Николаича, одиноко расхаживающего по зале.

– Да; вот я тут с полчаса уж дежурю, – отвечает он с некоторым ожесточением, – и хоть ты что хочешь! и кашлять принимался, и ногами стучал – нейдет никто! а между тем сам я слышу, как они в соседней комнате разливаются-хохочут!

– Да по какому случаю сегодня бал у Размановских?

– Разве вы не знаете? Ведь сегодня день ангела Агриппины, той самой, которая на фортепьянах-то играет. Ах, задушат очи нас нынче пением и декламацией!

И точно, в соседней комнате послышалась визгливая рулада, производимая не столько приятным, сколько усердным голосом третьей дочери, Клеопатры, которая, по всем вероятностям, репетировала арию, долженствовавшую восхитить всех слушателей.

В это время вошел в комнату сам Алексей Дмитрий, и вслед за тем начали съезжаться гости.

– Вы, верно, спали? – спросил Василий Николаич хозяина.

– Спали, – отвечал тот кротко.

– А ведь знаете, коли зовете вы к себе гостей, так спать-то уж и не годится.

– Уж и не годится, – повторил старец.

Мало-помалу образовались в зале кружки, и даже Алексей Дмитрич, желая принять участие в общем разговоре, начал слоняться из одного угла в другой, наводя на все сердца нестерпимое уныние. Женский пол скромно пробирался через зал в гостиную и робко усаживался по стенке, в ожидании хозяек.

– Ну что, вы как поживаете, господа? – спросил я, подходя к кучке гарнизонных офицеров, одетых с иголки и в белых перчатках на руках.

– Славу богу, Николай Иванович, – отвечал один из них, – нынешним летом покормились-таки; вот и мундирцы новенькие пошили.

– Как же это вы "покормились"?

– Да вот партию сводили-с, так тут кой-чего к ладоням пристало-с...

Я ужасно люблю господ гарнизонных офицеров. Есть у них на все этакой взгляд наивный, какого ни один человек в целом мире иметь не может. Нынче гитара и флейта даже у приказных вывелись, а гарнизонный офицер остается верен этим инструментам до конца жизни, потому что посредством их он преимущественно выражает тоску души своей. Обойдут ли его партией – он угрюмо насвистывает "Не одна во поле дороженька"; закрадется ли в сердце его вожделение к женской юбке – он уныло выводит "Черный цвет", и такие вздохи на флейте выделяет, что нужно быть юбке каменной, чтобы противостоять этим вздохам. На целый мир он смотрит

с точки зрения пайка; читает ли он какое-нибудь «сочинение» – думает: "Автор столько-то пайков себе выработал"; слышит ли, что кто-нибудь из его знакомых место новое получил – говорит: "Столько-то пайков ему прибавилось". Вообще они очень добрые малые и преуслужливые. На балах, куда их приглашают целую партией, чтоб девицы не сидели без кавалеров, они танцуют со всем усердием и с величайшею аккуратностью, не болтая ногами направо и налево, как штатские, а выделявая отчетливо каждое па. Марья Ивановна очень любит эту отчетливость и видит в ней несомненный знак преданности к ее особе.

– Посмотрите, как ваш Коловоротов от души танцует! – относится она к инвалидному начальнику, который самолично наблюдает, чтобы господа офицеры исполняли свои обязанности неуклонно.

– Усердный офицер-с! – отвечает командир угрюмо. Но обращаюсь к рассказу.

– О чем же вы так смеялись тут, господа? – спрашиваю я того же офицера, который объяснял мне значение слова "покормиться".

– Да вот Харченко анекдот рассказывал...

Общий смех.

– Вот-с, извольте видеть, – подхватывает торопливо Харченко, как будто опасаясь, чтобы Коловоротов или кто-нибудь другой не посягнул на его авторскую славу, – вот извольте видеть: стоял один офицер перед зеркалом и волосы себе причесывал, и говорит денщику: "Что это, братец, волосы у меня лезут?" А тот, знаете, подумавши этак минут с пять, и отвечает: "Весною, ваше благородие, всяка скотина линяет..." А в то время весна была-с, – прибавил он, внезапно краснея.

Новый взрыв смеха.

– И ведь «подумавши» – вот что главное! – говорит прапорщик Коловоротов.

– "Линяет"! – повторяет другой прапорщик, едва удерживая порывы смеха, одолевающие его юную грудь.

Но этот анекдот я уже давно слышал, и даже вполне уверен, что и все господа офицеры знают его наизусть. Но они невзыскательны, и некоторые повествования всегда производят неотразимый эффект между ними. К числу их относятся рассказы о том, как офицер тройку жидов загнал, о том, как русский, квартируя у немца, неприличность даже на потолке сделал, и т. д.

Я подхожу к другой группе, где друг мой Василий Николаич показывает публике медведя, то есть заставляет Алексея Дмитрича говорить разную чепуху. Около них собралась целая толпа народа, в которой немолчно раздается громкий и искренний смех, свидетельствующий о необыкновенном успехе представления.

– Да нет, я что-то не понимаю этого, – говорит Василии Николаич, – воля ваша, а тут что-нибудь да не так.

– Помилуйте, – возражает Алексей Дмитрич, – как же вы не понимаете? Ну, вы представьте себе две комиссии: одна комиссия и другая комиссия, и в обеих я, так сказать, первоприсутствующий... Ну вот, я из одной комиссии и пишу, теперича, к себе, в другую комиссию, что надо вот Василию Николаичу дом починить, а из этой-то комиссии пишу опять к себе в другую комиссию, что, врешь, дома чинить не нужно, потому что он в своем виде... понимаете?

– Ну, и ладно выходит? – спрашивает Василий Николаич.

– Ну, и ладно выходит, – повторяет Алексей Дмитрич.

Хохот, в котором хозяин дома принимает самое деятельное участие.

– Нет, тут что-нибудь да не то, – продолжает Василий Николаич, – конечно, экилибр [25] властей – это слова нет; однако тут кто-нибудь да соврал. Поговорим-ка лучше об статистике.

– Поговорим об статистике, – повторяет Алексей Дмитрич.

– Ну, каким же образом вы сведения собираете? Я что-то этого не понимаю. Сами ведь вы не можете сосчитать всякую овцу, и, однако ж, вот у вас значится в сведениях, что овец в губернии семьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три... Как же это?

Алексей Дмитрич улыбается.

– Вот то-то и есть, – говорит он, – все это только по наружности трудно. Вам с непривычки-то кажется, что я сам пойду овец считать, а у меня на это такие ходки в уездах есть – вот и считают! Мое дело только остановить их, коли заврут, или прикрикнуть, если лениться будут. Вот, например, намердись оковский исправник совсем одной статьи в своих сведениях не включил; ну, я, разумеется, сейчас же запрос: "Почему нет статьи о шелководстве?" Он отвечает, что потому этой статьи не включил, что и шелководства нет. Но он все-таки должен был в сведениях это объяснить.

– Да, да, – замечает Василий Николаич, – иначе какая же это будет статистика! Вот я тоже знал такого точного администратора, который во всякую вещь до тонкости доходил, так тот поручил однажды своему чиновнику составить ведомость всем лицам, получающим от казны арендные [26] деньги, да потом и говорит ему: "Уж кстати, любезнейший, составьте маленький список к тем лицам, которые аренды не получают". Тот сгоряча говорит «слушаю-с», да потом и приходит ко мне: "Что, говорит, я стану делать?" Ну, я и посоветовал на первый раз вытребовать ревизские сказки [27] из всех уездных казначейств.

Взрыв хохота.

– Николай Иваныч! Николай Иваныч! – слышу я голос князя Льва Михайлыча, зовущего меня с другого конца залы.

Я устремляюсь всеми силами души своей и стараюсь придать своему лицу благодарное и радостное выражение, потому что имею честь служить под непосредственным начальством его сиятельства.

– Мы здесь рассуждаем об том, – говорит он мне, – какое нынче направление странное принимает литература – всё какие-то нарывы описывают! и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дама – *vous concevez, mon cher!*<sup>37</sup> – это такой цветок, который ничего, кроме тонких запахов, испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно...

Я молча кланяюсь.

– Знакомят с какими-то лакеями, мужиками, солдатами... Слова нет, что они есть в природе, эти мужики, да от них ведь пахнет, – ну, и опрыскай его автор чем-нибудь, чтобы, знаете, в гостиную его ввести можно. А то так со всем, и с запахом, и ломают... это не только неприятно, но даже безнравственно...

У князя показываются слезы на глазах, потому что он очень добрый человек.

– Вот пошла, например, нынче мода на взяточничество нападать, – продолжает он. – Ну, конечно, это не хорошо взятки брать – кто же их защищает? *mais vous concevez, mon cher*, делай же он это так, чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это не хорошо быть взяточником... а то так на распутии и бросит – ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и все это одна клевета...

– Это совершенно справедливо ваше сиятельство изволили заметить, – вступает Порфирий Петрович, которого очень радует изреченная князем аксиома, что безнаказанность есть синоним невинности, – это совершенно справедливо, что голословно можно и самого чистого человека оклеветать.

---

<sup>37</sup> вы понимаете, мой милый! (франц.)

– Я и сам не прочь иногда посмеяться, – снова проповедует его сиятельство, – *il ne faut pas être toujours taciturne, c'est mauvais genre!*<sup>38</sup> мрачные физиономии бывают только у лакеев, потому что они озабочены, как бы им подноса не уронить; ну, а мы с подносами не ходим, следовательно, и приличие требует иногда посмеяться; но согласитесь, что у наших писателей смех уж чересчур звонок... Вот, например, я составил проект комедии, послушайте и скажите свое мнение. На сцене взяточник, он там обирает, в карманы лезет – можно обрисовать его даже самыми черными красками, чтобы, знаете, впечатление произвести... Зритель увлечен; он уже думает, что личность его не безопасна, он ощупывает свои собственные карманы... Но тут-то, в эту самую минуту, и должна проявиться благонамеренность автора... В то самое время, как взяточник снимает с бедняка последний кафтан, из задней декорации вдруг является рука, которая берет взяточника за волосы и поднимает вверх... В этом месте занавес опускается, и зритель выходит из театра успокоенный и не застегивает даже своего пальто.

– Это справедливо, – говорит Василий Николаич, который как-то незаметно подкрался к нам, – комедия вышла бы хорошая, только вряд ли актера можно такого сыскать, который согласился бы, чтоб его тащили кверху за волосы.

– Можно на это время куклой подменить, – отзывается князь довольно сухо.

Но в зале вдруг делается тихо. Является Марья Ивановна под руку с именинницей; прочие цветки роскошного букета скромно следуют сзади.

Князь Лев Михайлыч, семена ножками, поспешает навстречу Марье Ивановне.

– *Vous voilà comme toujours, belle et parée!*<sup>39</sup> – говорит он, обращаясь к имениннице. И, приятно округлив правую руку, предлагает ее Агриппине Алексеевне, отрывая ее таким образом от сердца нежно любящей матери, которая не иначе как со слезами на глазах решается доверить свое дитя когтям этого оплешивевшего от старости коршуна. Лев Михайлыч, без дальнейших церемоний, ведет свою даму прямо к роялю.

– Начинается истязание, – шепотом говорит мне.

Василий Николаич, который, несмотря на все свое остроумие, несколько побаивается Марьи Ивановны и не решается говорить вблизи ее громко.

Агриппина Алексеевна садится к роялю, отряхивает свои кудри и, приняв вид отчасти вдохновенный, отчасти полоумный, начинает разыгрывать какой-то "*Rêve*".<sup>40</sup> Я совершенно убежден, что в эту сладкую минуту она отнюдь не сомневается, что стихотворение Шиллера "*Laure am Klavier*"<sup>41</sup> написано к ней и что имя Лауры есть не что иное, как грустная опечатка.

– Прекрасно! превосходно! с каким чувством! – слышится со всех сторон во время игры, а под конец пьесы зала наполняется громом аплодисманов.

Надо сказать здесь, что у Марьи Ивановны имеется в запасе свой *entrepreneur de succès*,<sup>42</sup> детина рыжий и с весьма развитыми мускулами, который не только сам аплодирует, но готов прибить всякого другого, кому вздумалось бы не аплодировать. Эта ехидная гадина, порождение провинциального клиентизма, угрюмо озирается во все стороны, как бы выискивая в толпе жертву, на которую можно было бы ему нашептать в уши Марье Ивановне. За этот бдительный надзор и за разные другие послуги, преимущественно по предмету заднекрылечного знакомства с уездными чиновниками и подрядчиками, совершающегося под печатью ненарушимой тайны, клиент пользуется чрезвычайно благосклонностью Марьи Ивановны и, кроме процентов в общих прибылях, имеет всегда готовый куверт за столом ее.

<sup>38</sup> не следует быть всегда молчаливым, это дурная манера! (франц.)

<sup>39</sup> Вот и вы, как всегда, красивая и нарядная! (франц.)

<sup>40</sup> «Греза» (франц.).

<sup>41</sup> «Лаура у клавесина» (нем.).

<sup>42</sup> устроитель успеха (франц.).



Марья Ивановна в восторге от похвал, отовсюду раздающихся ее дочери, но вместе с этим она грустно потрясает головой.

– Если бы вы знали, – говорит она князю Льву Михайлычу, – если бы вы знали, mon cher prince,<sup>43</sup> чего нам стоили все эти уроки: ведь Агриппина – ученица Герке...

– Шш... – раздается по зале, и все скромно рассаживаются по стульям, расставленным вдоль стен.

В середину залы выступает вторая дочь Марьи Ивановны, Аглаида, и звучным контральтовым голосом произносит стихи:

Тебя с днем ангела, сестра, я поздравляю,  
Сестра! любимица зиждителя небес!  
От сердца полноты всех благ тебе желаю,  
И чтоб коварный ветер малютку не унес...

– Коварный ветер – это муж, – замечает Василий Николаич, – а малютка – сама виновница настоящего торжества!.. и заметьте: «небес» – «не унёс».

Аглаида продолжает:

С гнезда родимого от отческа крыла  
Судьбина жесткая малютку унесла.  
Мать безутешная! лети скорее, плачь:  
Невинного птенца задушит сей палач...

– Да не вы ли «сей палач»? – обращается ко мне опять Василий Николаич, – а я думал, что долго не дожждаться Агриппине «сего палача».

Прими ж, сестра, мое ты поздравление,  
И да услышит бог последнее моление:  
Да ниспошлет тебе он сердца чистоту  
И да низвержет в прах злодеев клевету.

– А ведь «клевету»-то на ваш счет сказано, – говорю я, в свою очередь, Василию Николаичу.

– Может быть, – отвечает он, – а это она хорошо сделала, что пожелала Агриппине чистоты: опрятность никогда не мешает.

Гости начинают уже стучать стульями, в чайные, что испытание кончилось и что можно будет приступить к настоящим действиям, составляющим цель всякого провинциального праздника: танцам и висту. Но надежда и на этот раз остается обманутой. К роялю подходят Клеопатра и Агриппина.

– Эти же стихи, переложенные на музыку Агриппиной Алексеевны, будет петь Клеопатра Алексеевна, – объясняет рыжий клиент, проходя мимо нас.

– Выходит, что именинница сама себя поздравляет, – пополняет Василий Николаич: – *Никем же не мучими сами ся мучаху...*

Именинница аккомпанирует, а Клеопатра Алексеевна разливается. В патетических местах она оборачивается к публике всем корпусом, и зрачки глаз ее до такой степени пропадают, что сам исправник Живоглот – на что уж бестия – ни под каким видом их нигде не отыскал бы, если б на него возложили это деликатное поручение. Пение кончается, и на этот раз

---

<sup>43</sup> дорогой князь (франц.).

аплодисманы раздаются с учетверенною силой, потому что все эти колодники, сидевшие вдоль стены, имеют полную надежду, что сюрпризы прекратились и они могут отправиться каждый по своему делу. И действительно, разносится слух, что поздравительный танец, предназначенный к исполнению через малолетних членов "приятного семейства", отложен до следующего понедельника.

– А очень жаль, очень жаль, – говорит Порфирий Петрович, подходя к Марье Ивановне, – очень было бы приятно полюбоваться, как эти ангельчики...

Марья Ивановна готова уже дать знак клиенту, чтобы исполнить желание гостей, но Порфирий Петрович, сам испугавшийся своего успеха, прибавляет:

– Впрочем, это удовольствие еще не ушло от нас: в следующий понедельник...

– Ну, то-то же! – шепчет Василий Николаич, – а то провалился было, старик!

В соседней комнате карточные столы уже заняты, а в передней раздаются первые звуки вальса. Я спешу к княжне Анне Львовне, которая в это время как-то робко озирается, как будто ища кого-то в толпе. Я подозреваю, что глаза ее жаждут встретить чистенького чиновника Техоцкого,<sup>44</sup> и, уважая тревожное состояние ее сердца, почтительно останавливаюсь поодаль, в ожидании, покуда ей самой угодно будет заметить меня.

– Ah, c'est vous,<sup>45</sup> мсье Щедрин? – говорит она наконец, подавляя вздох, созревший в ее груди.

И мы несемся как вихрь по зале.

Княжна вообще очень ко мне внимательна, и даже не прочь бы устроить из меня поверенного своих маленьких тайн, но не хочет сделать первый шаг, а я тоже не поддаюсь, зная, как тяжело быть поверенным непризнанных страданий и оскорбленных самолюбий. В этот вечер она как-то ожесточена, смеется лихорадочным смехом и все будто хочет о чем-то спросить меня, но не придумает, как это сделать. Я знаю, что она хочет спросить, почему нет в числе гостей Техоцкого; но я не объясняю ей истинных причин этого отсутствия, потому что это могло бы огорчить ее. Мне известно, что Техоцкий не приглашен Марьей Ивановной именно в пику княжне и в видах сохранения добрых нравов в городе Крутогорске.

– Помилуйте, – говорила мне сама Марья Ивановна, – ведь она такая exaltée,<sup>46</sup> пожалуй, еще на шею ему вешаться станет, а у меня дочери-девицы!

– Как вам кажется эта фантазия угощать произведениями своей домашней кухни? – спрашивает меня княжна, когда мы уселись с ней рядом в кадрили. Очевидно, что она намекает на выставку талантов, производившуюся перед открытием танцев.

– Вы знаете, княжна, – отвечаю я, – что я не имею никакого мнения на этот счет.

Но княжна, очевидно, меня не слушает.

– И заметьте, – продолжает она, – как все это самодовольно навязывается вам! и эта Клеопатра с своим маринованным голосом, и этот идиот Алексис, и нахальная Марья Ивановна...

Княжна слегка вздрагивает, произнося это ненавистное для нее имя.

– Вам начинать, – говорю я.

– А вы не знаете... – спрашивает она, когда мы сели на места, и вдруг останавливается.

– Что?

– Нет, так... я хотела, кажется, сказать какую-то глупость... вы не знаете, отчего здесь всегда пахнет скукой?

– Я опять-таки повторяю вам, княжна, что не имею здесь никакого мнения...

– Да, я и забыла, что вы человек осторожный... однако, в самом деле, вы не знаете, отчего...

---

<sup>44</sup> См. «Княжна Анна Львовна». (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

<sup>45</sup> А, это вы (франц.).

<sup>46</sup> экзальтированная (франц.).

И опять спотыкается, и неизвестно почему, мне вдруг становится ужасно жалко ее.  
– ...Здесь нет Техоцкого? – продолжает она, начиная третью фигуру.

В провинции лица умеют точно так же хорошо лгать, как и в столицах, и если бы кто посмотрел в нашу сторону, то никак не догадался бы, что в эту минуту разыгрывалась здесь одна из печальнейших драм, в которой действующими лицами являлись оскорбленная гордость и жгучее чувство любви, незаконно поправленное, два главные двигателя всех действий человеческих.

– Бедная княжна! – повторяю я мысленно.

– Мы и позабыли позвать мсьё Техоцкого! – говорит Марья Ивановна, подходя к нам.

– А! – восклицает княжна, смотря на нее с изумлением.

– А он такой милый молодой человек! – продолжает Марья Ивановна спокойно, но таким голосом, что княжна непременно должна расслышать хохот, затаившийся в груди этой «неблагоданерной» дамы.

– Очень жаль, – отвечает княжна.

– Вы не знаете, где он живет? – спрашивает Марья Ивановна, как будто ошибкой обращаясь к княжне, – ах, *pardon, princesse*,<sup>47</sup> я хотела спросить мсьё Щедрина... вы не знаете, мсьё Щедрин, где живет *господин* Техоцкий?

– Не имею этого удовольствия.

– Очень жаль, потому что за ним можно было бы послать... он сейчас придет: он такой жалкий! Ему все, что хотите, *велеть* можно! – И, уязвив княжну, неблагонамеренная дама отправляется далее язвить других.

Но танцам, как и всему в мире, есть конец. Наступает страшная для Марьи Ивановны минута ужина, и я вижу, как она суетится около Василия Николаича, стараясь заранее заслужить его снисходительность.

– Будьте любезны с Василием Николаичем, – говорю я княжне.

Она понимает меня и улыбается. Я тоже улыбаюсь, потому что вижу впереди богатое развлечение. Княжна подходит к моему другу и в несколько минут исключительно завладевает его вниманием. Надобно сказать, что Василий Николаич, происходя от "бедных, но благородных родителей", ужасно любит, чтобы за ним ухаживали сильные мира сего. Впрочем, он вообще всегда бывал как-то особенно и бескорыстно снисходителен к княжне, за что я очень уважал его. Марья Ивановна с судорожным беспокойством следит за ними; она с ужасом видит, что уехало всего два человека, а все остальные стойчески дожидаются ужина.

– Не протанцевать ли еще польку до ужина, *princesse*? – говорит она, в чаянии, что кто-нибудь уедет тем временем.

Но грозной судьбе не угодно споспешествовать намерениям Марьи Ивановны. В то самое время, как она кончает свою фразу, лакеи, каким-то чудом ускользнувшие из-под ее надзора, с шумом врываются в залу, неся накрытые столики.

– Милости просим, милости просим, господа, ужинать! – невпопад кричит Алексей Дмитрич, широко разевая рот.

– Уж хоть бы ты-то молчал! – вполголоса говорит Марья Ивановна, в досаде не скрывая даже своих чувств. – *Mesdames*! – прибавляет она с кислою улыбкой.

Но на первом же шагу встречается препятствие. Приборов подано на тридцать персон, а желающих ужинать оказывается налицо сорок человек. Десяти человекам решительно нет места на "жизненном пире", и в числе этих исключенных обретается Василий Николаич. Он приходит в неистовство и громко протестует против исключения. Марья Ивановна чувствует беду и выгоняет из-за стола Алексиса, который уже уселся и не прочь, пожалуй, вступить в бой с Марьей Ивановной за право ужинать. Сей достопочтенный муж, жертва хозяйственных сооб-

---

<sup>47</sup> простите, княжна (франц.).

ражений своей супруги, до такой степени изморожен голодом, что готов, как Исав, продать право первородства за блюдо чечевицы.

Но Василий Николаич за все радушие хозяйки оплачивает самую черную неблагодарностью. Он тут же распускает слух, что собственными глазами видел, как собирали с полу упавшее с блюда желе и укладывали вновь на блюдо, с очевидным намерением отравить им гостей. Марья Ивановна терпит пытку, потому что гарнизонные офицеры, оставшиеся за штатом и больше всех других заслужившие право на ужин, в голодной тоске переглядываются друг с другом.

– Что, брат! – говорит Василий Николаич прапорщику Коловоротову, – видно, не заслужил! а мы вот, видишь, какую индейку тут кушаем!

– Вам сейчас подадут, господа! – лебезит Марья Ивановна, – уж вы покушайте стоя, как бог послал!

– Дождись – подадут! – отзывается Василий Николаич.

И действительно, блюда проходят мимо «сверхштатных» совершенно опустошенными, и ужин оканчивается, не уделив им ни единой крупички.

Надо отдать полную справедливость Марье Ивановне: она тоже ничего не ела.

– Ух, скуки-то, скуки-то! – говорит господин Змеищев, сходя по лестнице.

– А каков ужин-то? – спрашивает Василий Николаич у Харченки, который идет понурих голову...

– В самом деле... ах, срам какой! – замечает Порфирий Петрович.

– А я-то старался, всех удерживал, – говорит Василий Николаич. Все смеются.

– Ну, уж «приятное» семейство! – раздается чей-то голос в толпе.

## БОГОМОЛЫЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ

### ОБЩАЯ КАРТИНА

Утро. Спят еще чиновники крутогорские, утомленные тянувшимся за полночь преферансом; спят негоцианты, угоревшие от излишнего употребления с вечера водки и tenerифа; откупщик разметал на постели нежное свое тело, и снится ему сон... Снится ему, будто чиновникам не нужно давать ни денег, ни водки, а кабаки по-прежнему открываются до обедни и закрываются далеко за полночь. Частный пристав Рогуля выполз на минуту из-под стеганого одеяла, глянул мутными глазами на улицу, испил кваску, молвил: «Рано!» – и побрел опять на кровать досыпать веселый сон.

Однако на улице уже шумно илюдно; толпы женщин всякого возраста, с котомками за плечами и посохами в руках, тянутся длинными вереницами к соборной площади. Уже показалось веселое солнышко и приветливо заглянуло всюду, где праздность и изнеженность не поставили ему искусственных преград; заиграло оно на золоченых шпилях церквей, позолотило тихие, далеко разлившиеся воды реки Крутогорки, согрело лучами своими влажный воздух и прогнало, вместе с тьмою, черную заботу из сердца... Солнышко, солнышко! как не любить тебя!

Май уж на исходе. В этот год он как-то особенно тепел и радостен; деревья давно оделись густою зеленью, которая не успела еще утратить свою яркость и приобрести летние тусклые тоны. В воздухе, однако ж, слышится еще весенняя свежесть; реки еще через край полны воды, а земля хранит еще свою плодотворную влажность на благо и крепость всякому злаку растущему.

Соборная площадь кипит народом; на огромном ее просторе снуют взад и вперед пестрые вереницы богомолок; некоторые из них, в ожидании благовестного колокола, расположились на земле, поближе к полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленные котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные медные гроши на свечу и на милостыню. Тут же, между ними, сидят на земле группы убогих, слепых и хромых калек, из которых каждый держит в руках деревянную чашку и каждый тянет свой плачевный, захватывающий за душу стих о пресветлом потерянном рае, о пустынном «нужном» житии, о злой превечной муке, о грешной душе, не соблюдавшей ни среды, ни пятницы... Тут же, около воткнутых в землю колышков, изображающих собою временные ярмарочные помещения, толкаются расторопные мещане и подгородные крестьяне, притащившиеся на ярмарку с бураками, ведерками, горшками и другим деревенским припасом. И весь этот люд суетится, хлопочет и непрерывно обновляется новыми толпами богомолок, приходящими бог весть из каких стран. Гул толпы ходит волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны.

У меня во пустыни много нужи прияти,  
У меня во пустыни постом попоститися,  
У меня во пустыни скорбя поскорбети,  
У меня во пустыни терпя потерпети... – [28]

голосит заунывно одна группа нищих, и десятки рук протягиваются с копеечками к деревянным чашкам убогих калек.

– Помолись, родимый, за меня! помолись, миленький! – говорит молодая бабенка, опуская свою копеечку в чашку слепенького старика, сидящего на корточках; но он, не обращая на это внимания, продолжает тоскливо тянуть свою песню:

Не страши мя, пустыня, превеликими страхами... [29]

– Издалеча, касатка, пришли? – спрашивает молодуху сгорбленная и сморщенная старуха, тут же остановившаяся с суковатою клюкой своей.

– Из Зырян, родимая, верст полтысячи боле будет; с самого с Егорьева дни идем угоднику поклониться.<sup>48</sup>

– По обещаю, что ли?

– Пообещалась, баушка; вот третий год замужем, а деток все бог не дает... Старуха вздыхает.

– А мы так вот тутошние, – говорит она, шамкая губами, – верст за сто отселева живем... Человек я старый, никому не нужный, ни поробить, ни в избе посмотреть... Глазами-то плохо уж вижу; намердись, чу, робенка – правнучка мне-то – чуть в корыте не утопила... Вот и отпустили к угоднику...

– Чай, пешком пришла, баунька? – спрашивает молодуха, покачивая головой.

– На своих все на ногах... охромела я нонече, а то как бы не сходить сто верст!.. больно уж долго шла... ох, да и котомка-то плечи щемит!

Молодуха молчит, поглядывая, пригорюнившись, на старуху.

– Чтой-то уж и смерть-то словно забыла меня, касатка! – продолжает старуха, – ровно уж и скончания житию-то не будет... а тоже хлеб ведь ем, на печи чужое место залеживаю... знобка я уж ноне стала!

– Чай, и грошика-то у тебя, баушка, нету?

– Нет, таки дал внучек грошик... Сынок-от у меня, видно, помер, так внучек в дому хозяйствует... дал грошик... как же! свечу поставить надо...

Новая толпа богомолков прерывает начатой разговор.

Всякиим грешникам  
Будет мука разная... – [30]

раздается в одной группе нищих...

Народился злой антихрист,  
Во всю землю он вселился,  
Во весь мир он вооружился,  
Стали его волю творити  
Власы, бороды стали брить,  
Латынскую одежду носить... – [31]

раздается в другой группе.

"Порадейте, православные! на церковное строение! святому угоднику на встречу!" – так взывает небольшой, колченогий мужичок, бойко пробираясь на своей деревяшке сквозь густую толпу богомольцев. Через плечо у него перекинута ременная перевязь, с прикреплен-

---

<sup>48</sup> Из Зырян, в Зыряны. Таким образом простой народ называет Усть-Сысольский уезд и смежные ему местности Вологодской, Пермской и Вятской губерний. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

ным к ней небольшим деревянным ящиком, в который православные опускают свои посильные жертвы.

– Здравствуйте, барин миленький! – говорит мне добрая гражданка Палагея Ивановна [32], встречаясь со мной.

– Здравствуйте, Палагея Ивановна! скажите, пожалуйста, отчего нищие только и поют, что про антихриста да про муки разные?

– И, барин! это уж заведение у них такое, не замай их!

Палагея Ивановна ходит по площади с мешком медных денег и раздает их нищим и бедным богомолкам, вроде той старухи, о которой упомянуто выше. За ней плетется шестилетняя племянница с калачиком в руках и по временам отламывает от него воробынью дачу.

– Тетонька! дать слепенькому калачика? – спрашивает она всякий раз Палагею Ивановну.

– Дай, умница, слепенький за тебя богу помолит. И воробыная дача, вместе с копеечкой Палагеи.

Ивановны, опускается в чашку убогого.

– А ведь ваша Сашенька будет предобрая, – говорю я Палагее Ивановне.

– Ничего, барин, пушай приучается.

Палагея Ивановна продолжает свой обход и всех наделяет грошиками; Сашенька тоже вынимает из узелка третий калачик и, по мере своего разума, подражает делу благотворения своей тетки.

Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое, сияющее добродушием и искренностью лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны – вещь материально невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется.

Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ, и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит народная толпа. Конечно, мы с вами, мсьё Буеракин, или с вами, мсьё Озорник [33], слишком хорошо образованны, чтоб приходить в непосредственное соприкосновение с этими мужиками, от которых пахнет печеным хлебом или кислыми овчинами, но издали поглядеть на этих загорелых, коренастых чудаков мы готовы с удовольствием. Я даже с гордостью сознаюсь, что когда на театре автор выводит на первый план русского мужичка и рекомендует ему отхватать вприсядку или же, собрав на сцену достаточное число опрятно одетых девиц в телогреях, заставляет их оглашать воздух звуками русской песни, я чувствую, что в сердце моем делается внезапный прилив, а глаза застилаются туманом, хотя, конечно, в камаринской нет ничего унылого.

"Grands dieux,<sup>49</sup> – говорю я себе, выходя из театра, – как мы, однако ж, выросли, как возмужали! Давно ли русский мужичок, *cet ours mal léché*,<sup>50</sup> являлся на театральный помост за тем только, чтоб сказать слово «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные», чтобы прокричать заветную фразу, вроде «идем!», «бежим!», или же отплясать где-то у воды [34] полуиспанский

---

<sup>49</sup> Великий боже (франц.).

<sup>50</sup> этот сиволопый (франц.).

танец – и вот теперь он как ни в чем не бывало семенит ногами и кувыркается на самой авансцене и оглашает воздух неистовыми криками своей песни! Grands dieux! как мы выросли!"

Но я оставляю свои размышления до более удобного времени и продолжаю свое странствование по площади.

На бревнах, наваленных в одном углу ее, я вижу несколько странниц, севших для отдыха.

– Житье-то у нас больно неприглядное, Петровна, – говорит одна из них, пожилая женщина, – земля – тундра да болотина, хлеб не то родится, не то нет; семья большая, кормиться нечем... ты то посуды, отколь подать-то взять?.. Ну, Семен-от Иваныч и толкует: надо, говорит, выселяться будет...

– Поди, чай, старого-то места жалко? – спрашивает ее собеседница.

– Как не жалеть? известно, жалко! Кабы не нужда, так коли же от родителей без ума бежать!

– Да ноне чтой-то и везде жить некорыстно стало. Как старики-то порасскажут, так что в старину-то одного хлеба родилось! А ноне и земля-то словно родить перестала... Да и народ без христианства стал... Шли мы этта на богомолье, так по дороге-то не то чтоб тебе копеечку или хлебца, Христа ради, подать, а еще тебя норовят оборвать... всё больше по лесочкам и ночлежничали.

– Что говорить, Петровна! В нашей вот сторонке и не знавали прежде, каков таков замок называется, а нонче пошли воровства да грабительства... Господи! что только будет!

– А далече ли переселенье-то вам будет?

– Да бает старик, что далече, по-за Пермь, в сибирские страны перетаскиваться придется... Ты возьми, сколько одной дорогой-то нужи примешь!..

– А вот от нас тоже в те стороны переселенцы бывали, так пишут, что куда там хорошо: и хлеб родится, и скотинка живет...

– Так-то так, Петровна, да уж больно родителей жалко! Ведь их здесь и помянуть будет некому...

Рассказчица тяжело вздыхает, собеседница вторит ей, и разговор, по-видимому, стихает. Я говорю «по-видимому», потому что этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся непрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший, без всяких с его стороны усилий, вылетает из груди его.

– Так-то вот, брат, – говорит пожилой и очень смиренный с виду мужичок, встретившись на площади с своим односельянином, – так-то вот, и Матюшу в некруты сдали!

В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обычный сдержанный вздох вырывается из груди.

– А добрый парень был, – продолжает мужичок, – какова есть на свете муха, и той не обидел, робил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел, даже голосу не дал, как «лоб» сказали!

Воображению моему вдруг представляется этот славный, смиренный парень Матюша, не то чтоб веселый, а скорей боязливый, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово знаменующегося крестным знамением; вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинных после тяжелой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я и старика отца, и старуху мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное детище, вижу урну с свернутыми в ней жеребьями, слышу слова: «лоб», "лоб", "лоб"...



– Что ж, помолиться, что ли, ты пришел, дядя Иван? – спрашивает у мужичка его собеседник.

– Да, вот, к угоднику... помиловал бы он его, наш батюшка! – отвечает старик прерывающимся голосом, – никакого, то есть, даже изъяну в нем не нашли, в Матюше-то: тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково.

.....  
И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня, во всей ее непорочности, душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пречестному и достохвальному образу божьего угодника. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека. На меня веет неведомою свежестью и благоуханием, когда до слуха моего долетает все то же тоскливое голошение убогих нищих:

Придет мать – весна-красна,  
Лузья, болота разольются,  
Древа листьями оденутся,  
И запоют птицы райски  
Архангельскими голосами;  
А ты из пустыни вон изыдешь,  
Меня, мать прекрасную, покинешь! [35]

– Нет, не покину! – готов я воскликнуть вместе с Осафьем-царевичем:

Разгуляюсь я во пустыни, во зеленой во дубраве,  
Насмотрюсь во пустыни на различные светы... [36]

Но вот раздался благовест соборного колокола; толпа вдруг заколыхалась и вся, как один человек, встала...

В третьем часу пополудни площадь уже пуста; кой-где перерезывают ее нехитрые экипажи губернских аристократов, спешащих в собор или же в городской сад, чтобы оттуда поглазеть на народный праздник. Народ весь спустился вниз к реке и расселся на бесчисленное множество лодок, готовых к отплытию вслед за великим угодником. На берегу разгуливает праздная толпа горожанок, облаченных в лучшие свои одежды.

– Марья Матвевна-с, может, вам прохладиться угодно-с? – говорит канцелярский чиновник Потешкин полной и краснощекой девице, идущей рядом с своею сухощавой родительницей.

Потешкин, рослый мужчина, одет по последней крутогорской моде; шея у него повязана желтым батистовым платком, а в руках блестит стальная тросточка, которою он эффектно помахивает. Эта тросточка стоила ему месячного жалованья, но нельзя не сознаться, что в ней Потешкин приобрел вещь действительно полезную, потому что она в некоторых местах разнимается и позволяет ему соорудить походный стальной чубук и обжигать им губы сколько душе угодно.

– Да чем же прохладиться, Петр Никитич? – томно отвечает Марья Матвеевна, имеющая виды на руку и сердце Потешкина.

– Прохладительные разные бывают-с, можно этга в питейный сбегать, пива купить...

– Да вы уж на свой счет, Петр Никитич!

– Помилуйте-с... на что же-с! Павел Иванович! Павел Иванович! побереги, брат, Марью Матвевну, куда я в питейный за пивом сбегаю!

– Преуслужливый кавалер Петр Никитич! – замечает Марья Матвеевна вслед удаляющемуся Потешкину, – вот вы бы никогда не поступили так благородно, Павел Иванович.

– Это он по несообразности своей, – сонно отвечает Павел Иванович.

– И как всегда чисто одет! даже за канцеляриста признать нельзя.

– Всё в долг, Марья Матвевна-с...

– Это нужды нет; образованному человеку всегда свою чистоплотность наблюдать следует... вот зато и невесту хорошую себе найдет, а вы не найдете!

– Я скорее найду-с.

– Вот любопытно! уж не думаете ли вы, что из себя очень занимательны?

– Нет-с, я найду не по красоте, а по своей основательности-с... Он что найдет? он горечь какую-нибудь найдет! а я желаю за себя купеческую дочь взять, чтоб за ней, по крайности, тысяча серебра числилась...

– Да! отдадут за вас!

– За меня отдадут-с... У меня, Марья Матвевна, жалованье небольшое, а я и тут способы изыскиваю... стало быть, всякий купец такому человеку дочь свою, зажмуря глаза, препоручить может... Намеднись иду я по улице, а Сокуриха-купчиха смотрит из окна: "Вот, говорит, солидный какой мужчина идет"... так, стало быть, ценят же!.. А за что? не за вертопрашество-с!

– Ну, уж нашли кого! Сокуриху! право, смех!

Эта группа сменяется другою, состоящею из четырех женщин и равного числа мужчин.

– А мы вот так, Петр Федорыч, сделаем, – говорит один из мужчин, – мы махнем на перепутье к Пазухину на завод, да там такую лихорадку отзвоним, что на целую неделю после того угорим!

– Да Пазухин-то нонче не больно разгуляться дает! – говорит со вздохом Петр Федорыч.

– Что ты! да как он осмелится! да я ему в лицо наплюю, если он всю нашу прихоть не исполнит...

– Разве уж для вас, Николай Тимофеич!

– Еще бы он посмел! – вступается супруга Николая Тимофеича, повисшая у него на руке, – у Николая Тимофеича и дела-то его все – стало быть, какой же он подчиненный будет, коли начальников своих уважать не станет?

– Я, брат Петр Федорыч, так тебе скажу, – продолжает Николай Тимофеич, – что хотя, конечно, я деньгами от Пазухина заимствуюсь, а все-таки, если он меня, кроме того, уважать не станет, так я хоша деньги ему в лицо и не брошу, однако досаду большую ему сделаю.

– Еще бы! – отзывается супруга.

– И если у него за обедом уха подается розная, получше гостям со стерлядями, а похуже – с окунями, так он мне с окунями не подавай, потому что я сделаю ему невежество...

– Что говорить, Николай Тимофеич! вы человек нужный, властный!

– Я у него в доме что хошь делаю! захочу, чтоб фрукт был, будет и фрукт... всякий расход он для меня сделать должен... И стало быть, если я тебя и твоих семейных к Пазухину приглашаю, так ты можешь ехать безо всякой опасности.

– Хорошо вам на свете жить, Николай Тимофеич, – говорит со вздохом Петр Федорыч, – вот и в равных с вами чинах нахожусь, а все счастья нет.

– Этот, брат, ты сюжет оставь... всякое место своего обладателя знает, а потому оно и дается такому человеку, который свой предмет в существе вещей понимает.

Эту компанию сменяет парочка: муж с женой, тоже в гражданских костюмах.

– Ты мне вот и платишка-то порядочного сделать не можешь! – говорит жена, – а тоже на гулянье идет!

– Молчи, сударыня, молчи!

– Мне на что молчать, мне на то бог язык дал, чтоб говорить... только от тебя и слов, что молчать... а тоже гулять идет!

– Вот уж погоди, домой придем!

– Ишь гуляльщик какой нашелся! жене шляпки третий год купить не может... Ты разве голую меня от родителей брал? чай, тоже всего напасено было.

– Молчи, говорят тебе, молчи, змея!

– Что уж ты, видно, бить меня хочешь за то, что я тебе справедливость свою высказываю?.. что ж, бей!

По крайности пусть на народе посмотрят, каково мне с тобой житье... со сквалыжником!

Пара проходит мимо.

– А что наши господа! – говорит лакей одного из знакомых мне губернских аристократов, – только разве что понятие одно, что господа... да и понятия-то нет!

– Господа бывают разные, – вступается другой лакей, – один господин своего понятия не имеет, так от слуги понятием заимствуется, другой, напротив того, желает, чтоб от него слуга понятием заимствовался...

– А вот у наших господ так и своего-то понятия нет, да и от нашего брата заняться ничем не хотят, – замечает третий лакей.

– Это, брат, самое худое дело, – отвечает второй лакей, – это все равно значит, что в доме большого нет. Примерно, я теперь в доме у буфета состою, а Петров состоит по части комнатного убранства... стало быть, если без понятия жить, он в мою часть, а я в его буду входить, и будем мы, выходит, комнаты два раза подметать, а посуду, значит, немытую оставим.

– Господин хошь и господин, а тоже зря выговаривать не должен, – благоразумно замечает первый лакей.

– Как можно зря выговаривать! это значит человека только запугать и в неспособность его произвести.

– А слышал, Михай, что с Петрушкой с Порфирьевским намедни случилось... Барин-от пришел, а он спал на лавке, да вскочивши спросоньев, и ну в холодной печке кочергой мешать...

– Во сне, должно быть, видел, что печку топят!

– Что другого и видеть-то! всякий свою ремесленность видит! Вот я нонче три ночи сряду все во сне сапоги чищу...

– Господа! расступитесь, расступитесь, сделайте ваше одолжение! – кричит частный пристав Рогуля, протискиваясь брюхом в толпу, – ты, мужик, чего тут стал? разве здесь твое место?

Последние слова относятся к зазевавшемуся субъекту, обладающему бородой и облаченному в серый кафтан. Толпа раздается, и на сцену является генеральша Дарья Михайловна Голубовицкая. Генеральша очень видная и красивая женщина; в ее поступи и движениях замечается та неробкость, которая легко дается всякой умной женщине, поставленной обстоятельствами выше общего уровня толпы; она очень хорошо одета, что также придает не мало блеску ее прекрасной внешности. Впереди идут два маленьких сына генеральши, но такие миленькие, "такие душки", как говорят в провинции, что их скорее можно признать за хорошие конфетки, нежели за мальчиков. Генеральша окружена целой толпой придворных льстецов, которые наперерыв усиливаются очаровать ее своим остроумием, любезностью и преимущественно щегольским французским языком. В особенности же суетится и хлопочет кругленький и пузатенький помещик Загржембович, который то забежит вперед и полюбуется на детей, то опять поравняется с Дарьей Михайловной, и всегда найдется сказать что-нибудь лестное и приятное. Губернская молодежь без ума от Дарьи Михайловны.

– *Quel charme, que cette femrae!*<sup>51</sup> – говорит Леонид Сергееч Разбитной, который, по смерти князя Чебылкина [37], охотно пристроился под крыло генерала Голубовицкого. Дарья Михайловна слышит это и слегка улыбается тою сладкою улыбкой, которая принадлежит только хорошеньким женщинам, вполне уверенным в своем торжестве.

Шествие замыкается самим генералом Голубовицким, одетым в вицмундирный фрак и идущим, как прилично высокому губернскому сановнику, с заложенными за спину руками. Сановитость генерала такова, что никакое самое обстоятельное описание не может противостоять ее лучам; высокий рост и соответствующее телосложение придают ему еще более величия, так что его превосходительству стоит только повернуть головой или подернуть бровью, чтобы тьма подчиненных бросилась вперед, с целью произвести порядок. Генерал также окружен своим штатом, но это не вертопрахи какие-нибудь, а люди солидные, снискавшие общее уважение через доказанную ими преданность или же способность к приобретениям всякого рода. Тут вижу я и знакомого моего Порфирия Петровича, который, по мелкости своего роста, обязывается делать два шага там, где его превосходительству приходится делать только один. Тут же и добродушный глава "приятного семейства", господин Размановский, отпущенный своею супругой погулять и по этому случаю улыбающийся до самого затылка. Тут же и величественный директор народного училища, у которого на лице начертано: "Аз есмь уныние и тошнота, ибо корни учения горьки, и лишь плоды его сладки", и много других еще, высоких и маленьких, пузатеньких и тщедушных, горделивых и смиренных.

Генеральша пожелала отдохнуть. Частный пристав Рогуля стремглав бросается вперед и очищает от народа ту часть берегового пространства, которая необходима для того, чтоб открыть взорам высоких посетителей прелестную картину отплытия святых икон. Неизвестно откуда, внезапно являются стулья и кресла для генеральши и ее приближенных. Правда, что в помощь Рогуле вырос из земли отставной подпоручик Живновский, который, из любви к искусству, суетится и распоряжается, как будто ему обещали за труды повышение чином.

Судя по торжественному виду, с которым Живновский проходит мимо генеральши, нельзя не согласиться, что он должен быть совершенно доволен собой. Он как-то изгибает свою голову, потрясает спиной и непременно прикладывает к козырьку руку, когда приближается к ее превосходительству.

– Мсьё Загржембович, сядьте подле меня, – говорит Дарья Михайловна, – я хочу, чтоб вы были сегодня моим чичероне.

Загржембович устремляется к генеральше, садится на стул несколько боком и всю особу свою приветливо наклоняет по направлению к ее превосходительству.

– Скажите, пожалуйста, в ваших местах таких процессий не бывает? – спрашивает Дарья Михайловна.

– *Oh, madame, mais comment donc! le peuple est dans l'enfance chez nous comme ailleurs. Mais c'est bien plus beau chez nous!*<sup>52</sup>

– Вы несправедливы, мсьё Загржембович, вы личную свою досаду переносите на нас, бедных крутогорских жителей...

– Только не на вас, Дарья Михайловна!

– Посмотрите на эту толпу, одетую в пестрые праздничные свои наряды, – продолжает генеральша, не обратив внимания на комплимент своего усердного поклонника, – *mais je vous demande un peu, si ce n'est pas joli?*

– *Oui, c'est joli, mais chez nous c'est imposant, c'est beau!*<sup>53</sup> разница между этим зрелищем и теми, которые я когда-то имел случай видеть, та же самая, как между женщиной, которую

<sup>51</sup> Как очаровательна эта женщина! (франц.)

<sup>52</sup> О, сударыня, как же! народ у нас в таком же младенчестве, как и повсюду. Но у нас это гораздо красивее! (франц.)

<sup>53</sup> но скажите, пожалуйста, разве это не красиво? – Да, это красиво, но у нас это величественно, это прекрасно! (франц.)

мы называем не более как миленькою, и женщиной... mais vous savez: il y a de ces femmes qui par leurs traits, leur port vous rappellent ces belles statues de l'antiquité!..<sup>54</sup>

Загржембович масляно взирает на Дарью Михайловну, которая, с своей стороны, чувствуя, что комплимент сказан ей, так сказать, в упор, впадает по этому поводу в задумчивость и предается самым сладостнейшим мечтаниям. И она тоже belle âme incomprise,<sup>55</sup> принуждена влачить son existence manquée<sup>56</sup> в неизвестном Крутогорске, где о хорошенькой женщине говорят с каким-то неблагоприятным причмокиванием, где не могут иметь понятия о тех тонких, эфирных нитях, из которых составлено все существо порядочной женщины... И перед глазами ее наяву проносится сон... сон, которого горячая атмосфера полна зовущих звуков и раздражающих благоуханий. Глаза ее ласково жмурятся, на губах показывается улыбка, и все ее хорошенькое тело лениво опускается на спинку неудобного кресла, которое принесено сюда, благодаря услужливости подпоручика Живновского.

– А все-таки это мило! – говорит она медленно, как бы просыпаясь от сна.

– Русский народ благочестив – это хорошо! – ораторствует, в свою очередь, супруг ее, генерал Голубовицкий.

– Благочестие – основание всякого знания, ваше превосходительство! – замечает директор училища.

– Всякого знания! – добродушно повторяет Размановский.

– Это чувство в нем надо поддержать! – продолжает генерал, гордо озираясь.

Частный пристав Рогуля, который это озиранье принимает за желание со стороны его превосходительства, чтоб где-нибудь произведен был порядок, стремглав бросается в сторону и начинает толкаться.

– Рогуля! не надо! – величественно замечает генерал.

– Тут многие есть такие, ваше превосходительство, – вступается Порфирий Петрович, – которые целые тысячи верст прошли, чтоб поклониться угоднику!

– Это весьма любопытно! – замечает генерал.

– Губерния эта самая отличная, – говорит Порфирий Петрович, – это, можно сказать, непочатой еще край...

– В одних недрах земли сколько богатств скрывается! – перебивает директор.

– Постараемся развить! – отвечает генерал.

Но вот снова понеслись из всех церквей звуки колоколов; духовная процессия с крестами и хоругвями медленно спускается с горы к реке; народ благоговейно снимает шапки и творит молитву... Через полчаса берег делается по-прежнему пустынным, и только зоркий глаз может различить вдали флотилию, уносящую пеструю толпу богомольцев.

---

<sup>54</sup> ну, вы знаете: есть такие женщины, которые своими чертами, своей осанкой напоминают вам эти прекрасные античные статуи!.. (франц.)

<sup>55</sup> прекрасная непонятая душа (франц.).

<sup>56</sup> свое жалкое существование (франц.).

## ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ ПИМЕНОВ

На завалинке, у самого почтового двора, расположился небольшого роста старичок в военном сюртуке, запыленном и вытертом до крайности. Он снял с плеча мешок, вынул оттуда ломоть черного, зачерствевшего хлеба, достал бумажку, в которую обыкновенно завертывается странниками соль, посолил хлеб и принялся за обед.

– Куда бредешь, старик? – спрашиваю я, садясь возле него на завалинку.

– А вот, сударь, ко святым местам собрался, да будто попрестал маленько.

Солдат очень стар, хотя еще бодр; лицо у него румяное, но румянец этот старческий; под кожей видны жилки, в которых кровь кажется как бы запекающеюся; глаза тусклые и слезящиеся; борода, когда-то бритая, давно запущена, волос на голове мало. Пот выступает на всем его лице, потому что время стоит жаркое, и идти пешему, да и притом с ношею на плечах, должно быть, очень тяжело.

– Давно ты в отставке, старик?

– А как бы вам, сударь, не солгать? лет с двадцать пять больше будет. Двадцать пять лет в отставке, двадцать пять в службе, да хоть двадцати же пяти на службу пошел... лет-то уж, видно, мне много будет.

– Тяжело, чай, тебе идти?

– Тяжелина, ваше благородие, небольшая. Не к браге, а за святым делом иду: как же можно, чтоб тяжело было! Известно, иной раз будто солнышко припечет, другой раз дождичком смочит, однако непереносного нету.

– Куда же идешь?

– И сам, сударь, еще не знаю. Желанье такое есть, чтоб до Святой Горы дойти, а там как бог даст.

Старик доел свой ломоть, перекрестился и вздохнул.

– Вот теперь кваску бы испить хорошо, – сказал он, – да отдохнуть бы, пока жара поспадет.

Подали по моему приказанию кружку квасу, к которой старик припал с видимым наслаждением.

– Ну вот, этак-то ладно будет, – сказал он, переводя дух, – спасибо, баринушко, тебе за ласку. Грошиков-то у меня, вишь, мало, а без квасу и идти-то словно неповадно... Спасибо тебе!

– Как же ты, старина, в такой дальний путь без грошиков собрался?

– Дойду, сударь: не впервой эти походы делать. Я сызмалетства к странническому делу приверженность имею, даром что солдат. Значит, я со всяким народом спознался, на всякие светы нагляделся... Известно, не без нужи! так ведь душевное дело нужей-то еще больше красится!

– Они все, ваше высокоблагородие, таким манером доверенность в человеческое добросердечие питают! – вступился станционный писарь, незаметно приблизившись к нам, – а что, служба, коли, не ровен час, по дороге лихой человек ограбит? – прибавил он не без иронии.

– Где меня грабить! я весь тут как есть! – отвечал старик и вздохнул.

– Это именно удивления достойно-с! – продолжал философствовать писарь, – сколько их тут через все лето пройдет, и даже никакой опаски не имеют! Примерно, скажем хоть про разбойников-с; разбойник, хошь ты как хошь, все он разбойник есть, разбойничья у него душа... но этому самому и называется он кровопийцею... так и разбойника даже не опасаются-с!

– Что его опасаться? Разбойник денежного человека любит... денежного человека да грешного! а бедного ему не надо... зачем ему бедный!

– Я так, ваше высокоблагородие, понимаю, что все это больше от ихней глупости, потому как с умом человек, особливо служащий-с, всякого случаю опасаться должен. Идешь этга иной раз до города, так именно издрожись весь, чтоб кто-нибудь тебя не избидел... Ну, а они что-с? так разве, убогонькие!

– Разве ты не в первый раз ходишь? – спросил я старика, дав время уняться потоку писарского красноречия.

– Нет, сударь, много уж раз бывал. Был и в Киеве, и у Сергия-Троицы [38] был, ходил и в Соловки не одна... Только вот на Святой Горе на Афонской не бывал, а куда, сказывают, там хорошо! Сказывают, сударь, что такие там есть пустыни безмолвные, что и нехотящему человеку не спастись невозможно, и такие есть старцы-постники и подражатели, что даже самое закоснелое сердце словесами своими мягко яко воск соделывают!.. Кажется, только бы бог привел дойти туда, так и живот-то скончать не жалко!

– Эх, Антон Пименыч! все это анекдот один, – сказал писарь, – известно, странники оттелева приходят, так надо же побаловать языком, будто как за делом ходили...

– Разве ты знаешь его? – обратился я к писарю.

– Как же, ваше высокоблагородие! он тутошний, верст пятнадцать отсель жительствоует.

– Тутошний я, сударь, тутошний. Только ты это не дело, писарек, говоришь про странников-то! Такая ли это материя, чтоб насчет ее, одного баловства ради, речь заводить!

– Так неужто жив сам-деле против каждого их слова уши развесить надобно? Они, ваше высокоблагородие, и невесть чего тут, воротимшись, рассказывают... У нас вот тутотка всё слава богу, ничего-таки не слышать, а в чужих людях так и реки-то, по-ихнему, молочные, и берега-то кисельные...

– Кисельные не кисельные, а это точно, что ты, писарек, только по неразумию своему странников обхаиваешь... Странник человек убогой, ему лгать не по што.

– Чай, и ты, старина, не мало видал на своем веку? – спросил я.

– Как, сударь, не видать? видал довольно, видал, как и немощные крепость получали, и недужные исцелялися, видел беса, из жены изгоняемого, слышал звоны и гулы подземные, видал даже, как озеро внезапно яко вихрем волнуемое соделывается, а ветру нет... Много я, сударь, видал!

– Порасскажи-ка, пока отдыхаешь.

– Да что, сударь, вам рассказать! расскажешь, да вы не поверите; значит, в соблазн вас ввести надо... Коли уж писарь зубы скалит, так благородному господину и подавно наша глупость несообразна покажется?

– Мне, однако ж, было бы приятно послушать тебя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.